

где бы мы, русские люди, ни жили, в каком бы положении мы ни находились, нас
никогда и нигде не покидает скорбь о нашей родине, о России, это естественно
и неизбежно: эта скорбь не может и не должна нас покидать, она есть
проявление нашей живой любви к родине и нашей веры в нее.



Русское сопротивление

чтобы быть и бороться, стоять и воевать, нам необходимо верить в то,
что не всякая благодать судьбы русского народа, что не оскудели в нем божьи дары,
что по-прежнему, лишь на поверхности омраченное живет в нем его вечное
богосприятие, что это омрачение пройдет и духовные силы воскреснут, те
у нас, которые лишатся этой веры, утратят смысл национальной
борьбы, и если так, то, даже если мы и выйдем из-под гнета, мы не сможем
бог и любить, и духом, а это значит, что они ее потеряют, выйдут из нее

АНАТОЛИЙ

ГАННИЖКОВ

своей расе есть дар божий, данный самим русским людям, и в то же время
указание божье, имеющее оградить Россию от посягательства других народов,
и требование для этого дара — свободы и самостоятельности на земле, быть
русским — значит созерцать Россию в божьем луче, в ее вечной тишине

О чем
безмолвствует
народ

непреходящей субстанции, и любовью принимать ее, как одну из главных и
советных святынь своей личной жизни, быть русским значит верить в Россию
так, как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и ее строители.
только на этой вере мы сможем утвердить нашу борьбу за нее и нашу победу.
может быть, и не прав тытчев, что в Россию можно только верить, ибо
ведь и разуму можно многое сказать о России, и сила воображения должна
увидать ее земное величие и ее духовную красоту, и воле надлежит совершить
и утвердить в России многое, но и вера необходима: без веры в Россию мы
самим не проживем, и ее не воспроем.

Русское сопротивление

Анатолий Ланщиков

О чем безмолвствует народ

«Алисторус»

2012

УДК 82-93
ББК 84

Ланщиков А. П.

О чем безмолвствует народ / А. П. Ланщиков — «Алисторус»,
2012 — (Русское сопротивление)

ISBN 978-5-4320-0023-1

Анатолий Петрович Ланщиков (1929–2007) был одним из наиболее читаемых литературных критиков в 60—90-е годы XX века. С течением времени могло показаться, что те споры отбушевали и ушли в прошлое. Но, перечитывая сейчас работы Ланщикова, видишь, — насколько в годы так называемого «застоя» и нового перелома русского хребта люди мыслили масштабнее и точнее, чем в нынешнее неустойчивое, отдающее гнилью, время. Насколько слово Ланщикова, касалось ли оно Чернышевского и Толстого или его живых современников – Астафьева, Рубцова, Жигулина, вскрывало жгучие вопросы современности и было обращено с точным прогнозом в будущее. Это первая посмертная книга критика, его «избранное», которое, надеемся, встретит своего вдумчивого и неравнодушного читателя.

УДК 82-93
ББК 84

ISBN 978-5-4320-0023-1

© Ланщиков А. П., 2012
© Алисторус, 2012

Содержание

«По законам высшей справедливости»	6
О чем молчала земля?	14
Автобиография поколения	22
Осторожно – концепция!	22
Мода и современность	37
«Исповедальная» проза и ее герой	42
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Анатолий Ланщиков

О чем безмолвствует народ

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Составители:

С. С. Куняев, А.М. Разумихин

«По законам высшей справедливости»

Основание жизни народной – есть убеждение...

И. В. Куреевский

Во всем виноват я – не удержал книгу.

Именно в тот день зачем-то взялся наводить порядок на полках домашней библиотеки. И вот стою на лестнице-стремянке, перебираю томики, протирая их корешки и обрезы. Как, почему из рук вырвался один из них? Синий переплет точно взмахнул крыльями, но не взлетел, а рухнул вниз.

Удивительное дело, сколько шума наделало падение этой, в общем-то не очень толстой, книги. Из соседней комнаты на него даже прибежала жена.

– Что случилось? – увидела, подняла и, взглянув на обложку, протянула мне. Только отчего вдруг замедлилось движение руки и дрогнул голос? – Ланщиков... Не к добру... Плохая примета...

А я лишь отмахнулся:

– Скажешь тоже!

...На следующий день во второй половине дня раздался телефонный звонок, я взял трубку.

– Да! Привет! Рад тебя слышать... Ой!.. Прими наши соболезнования... Конечно. Обязательно. Где? Во сколько? Ты только держись. Чем могу помочь? Кому еще позвонить?.. До завтра... Мужайся.

Кладу трубку и вижу все понимающие глаза жены.

– Анатолий Петрович? – Она даже не произносит слово «умер», и так ясно. – Я же сказала «не к добру».

Потом выяснится, что книжка из моих рук упала именно в то время, когда кончилась «черeda окаянных дней», отпущенных судьбой Анатолию Петровичу Ланщикову. Хотите, считайте – мистика, хотите – дело случая. Но совпало!

...Нас свел Юрий Селезнев. Я тогда пришел в «Молодую гвардию», и мы сидели в его кабинете заведующего редакцией «ЖЗЛ». Только на сей раз все было наоборот. В его редакторском кабинете редактором был я, а Юра был проштрафившимся автором. Он обещал мне написать в очередной журнальный номер «Литературы в школе» статью, но срывал сроки. Я, как мог, нажимал на него. Тут-то порог кабинета и переступил незнакомый мне человек. Селезнев воспользовался моментом и переключил разговор. Он представил нас друг другу.

Зачем тогда Ланщиков, а это был он, пришел к Селезневу – не помню, врать не буду. Но в конце встречи речь зашла о том, что Анатолий Петрович и Игорь Золотусский на пару будут вести от Союза писателей семинар по тем временам молодых критиков. Ланщикова беспокоил будущий состав участников семинара:

– Складывается так, что по тому, откуда и от кого приходят первые семинаристы, общая картина получается скверная. С той стороны пока молодых больше. Нужно подобрать нескольких, – сказал он, – своих и крепких ребят. Чтобы все было на равных. Завтра от них будет зависеть будущее критики.

И Селезнев предложил ему меня, добавив всего одно слово: «Ручаюсь!» Так судьбе стало угодно, что из селезневского кабинета мы с Ланщиковым вышли вместе.

На тот момент я ничего не знал о нем, а он – обо мне. Его первый вопрос был:

– Москвич? Откуда родом?

Я ответил, что корни московские и саратовские, а по отцу еще и ржевские, но родиться довелось в Хабаровске, в погранотряде Амурской речной флотилии. Потому как из семьи кадрового морского офицера. Пошутил про самого себя:

– Дед – капитан первого ранга, отец – капитан третьего ранга, а я выродец – в армии «служил» всего три дня. Полная деградация, гуманитарием стал. Хотя, должен признаться, читать, писать полгода учился, живя у отца на сторожевом корабле, стоявшем на рейде в бухте Золотой Рог Владивостока.

По его реакции понял, что мое происхождение ему очень даже глянулось. Позже от Анатолия Петровича доведется узнать о военных корнях его самого: о суворовском училище, об офицерской службе.

А я тем временем продолжаю, что в Москву приехал из Саратова, куда наша семья переехала после демобилизации отца. Там окончил школу и филфак университета.

– Любопытное совпадение, – говорю ему, – потому как один мой дед родом тоже из Саратовской губернии.

И слышу в ответ:

– Так мы земляки.

Кажется, именно эти три фактора: рекомендация Селезнева, происхождение из потомственных военных и землячество – нас как-то сразу сблизили.

Буквально на другой день я продолжил знакомство – начал читать небольшой сборник статей Ланщикова «Времен возвышенная связь» и сразу понял... как говорил один из моих любимых киногероев в исполнении Леонида Быкова: «Споемся!»

На вопрос, что такое критик, всякий знающий – с юмором, конечно, – прежде всего отвечает: «Это не профессия, это состояние души». Состояние души, какой был наделен Анатолий Петрович, не капризной и не жестокой, внемлющей доводам разума и голосу естественного чувства, стремящейся к самостоятельности и свободе от рабской зависимости, ему не только позволило, а просто-таки предопределило, обратившись к литературе, быть критиком. Спорить, доказывать, объяснять, или, как еще говорят, формировать общественное мнение. Он это делал всегда. Даже тогда, когда об общественном мнении и не заикались.

Не случайно себя и своих сверстников, чье детство совпало с войной, он как-то назвал «спорящим поколением». «У меня вообще создается такое впечатление, – признавался Ланщиков в 1980 году, – будто мы проспорили всю свою жизнь». Мотивы, по которым то тут, то там вспыхивала жаркая, до драки, полемика, разумеется, были разные. Впрочем, и ценности при этом отстаивались спорящими, само собой, противоположные. Одни на первый план выдвигали «исповедальную» прозу, другие – «деревенскую». Одни ратовали за прогресс, другие взывали к нравственности. Одни цитировали Хемингуэя и Кафку, другие ссылались на Глеба Успенского и Достоевского.

Так что Ланщикову, что называется, на роду было написано спорить, например, с теми, для кого слово «новаторство» оказалось высшей и чуть ли не единственной похвалой, а слово «традиционность» – синонимом отсталости и бесталанности.

Я открываю его работу середины 60-х, где он размышляет о моде и современности: «У моды свои законы этики и эстетики, а в понятие *хорошее* или *плохое* она не вкладывает никакого иного содержания, кроме как: *новое* и *старое*. *Новое* – хорошо уже только потому, что оно не старое, *старое* – плохо уже потому, что оно не новое».

Сознаю: если уже тогда, в 60-е, он посчитал нужным бескомпромиссно обозначить, что «новое – это еще не значит истинное», то в представлении, какое нам сегодня навязывается, будто поколение шестидесятников состояло исключительно из демократов и либералов, сплошь устремленных на общечеловеческие ценности, притворства ничуть не меньше, чем в былых партийных заботах коммунистов, руководствовавшихся в своих действиях не законами,

а сложившейся практикой, точнее, целесообразностью, или в современных «заботах» власть предержащих о судьбах народных.

Порой, читая Ланшикова, можно было подумать, что куда больше настоящего, тем паче будущего, его волнует прошлое. И эти мысли возникают не только от работ, рожденных в пору «окаянных дней» 90-х, но уже от статей давних 70-х, достаточно взглянуть на его заметки о деревне и «деревенской» прозе. Действительно, полемизируя с суждениями дня нынешнего, Анатолий Петрович часто опирался на аргументы и факты дней давнишних. Исходил при этом из двух принципиальных для него «постулатов»: до нас люди жили тоже отнюдь не глупые, и «прошлое – это наша корневая система, и его страшится лишь тот, кто не верит в историческую перспективу сегодняшнего дня».

Попутно замечу: и тогда, и ныне, читая его размышления о «старой» и «новой» деревне, я поражался, как этот сугубо городской человек с армейской «начинкой» умел, нет, не любить землю и деревню, а понимать людей, живущих на земле, и их предпочтения.

Чаще всего его критические выступления – это статьи «на случай». Как он говорил: «Мне надо за что-то зацепиться или от чего-то оттолкнуться». Почти каждая его работа – это своеобразный ответ на внешний импульс. Значит, что-то царапнуло в душе, задело, и он не смог смолчать. Он предпочитал не писать, если такого раздражителя не возникало. Анатолий Петрович без тени шутки говорил о себе по этому поводу: «Я какой-то не профессиональный критик. Меня надо раздражить, тогда я сажусь писать. А в остальное время предпочитаю читать».

Ланшиков был из той редкой породы критиков, которые любят читать не потому, что позвонили из редакции и заказали рецензию на книгу, статью в журнал, или чтобы быть «в курсе происходящего», он любил чтение как таковое, любил читать «ненужное», несовременное, ему нравилось находить чужие мысли, в которых чувствовалась умственная самостоятельность. А в последние годы, когда и жены не стало, и Светлана, дочь, выросла, стала самостоятельной, и за окном стояла «ненастная эпоха», для него и вовсе ничего не было лучшего, как сесть за письменный стол и читать. Замечу, он читал внимательно и, как говорится, с чувством, больше того, я даже сказал бы, с величайшим уважением к слову. Так редко даже профессионалы читают.

И это, говоря его собственными словами, «не было простым накопительством сведений или приобретением простой эрудиции, это была жажда познать мир во времени и в пространстве и таким образом постигнуть его закономерности».

Казалось бы, в том, что он писал, нет столь важного для литературы – *бесцельности*, того, что называется общностью на все времена. У Ланшикова все, наоборот, имело конкретную цель и, следовательно, написано вроде как бы для конкретной минуты. Но значит ли это, что отошла минута и статья увяла, морально устарела? Ничуть! Время идет, а написанное им по-прежнему плодоносит. Потому что писалось не для минуты, а для жизни.

И надо ли удивляться, что многие пассажи, рожденные литературной полемикой в каком-нибудь 1969 году, читаются сегодня, сорок лет спустя, как обращенные к иным современным авторам, любителям политических и нравственных обвинений: «Поговорил, скажем, критик А. о том, что по каким-то причинам не устраивает критика Б., смотришь, последний «воздвигает» какую-нибудь фантастическую концепцию и, пользуясь первым же случаем, приписывает ее своему литературному противнику. Затем критик Б. принимает патриотическую осанку и начинает громить критика А. и притом не столько как критика, сколько как человека. И тут уже сложилась своя модель. Сначала щедро выдаются «комплименты», порой граничащие с прямыми оскорблениями. Второе условие – наличие в обвинениях «политических полунамеков». В-третьих, критику А. подыскивается «реакционный предшественник», а потом, естественно, следуют соответствующие «выводы».

Начиная с самых ранних публикаций (можно обратиться к его знаменитой молодогвардейской статье «Осторожно – концепция!»), легко увидеть, как он относился и к «друзьям», и

к «врагам». Игнорируя распространенную формулу: «свой» всегда прав, а если даже не прав, то об этом не говорят вслух, Ланщиков (редкое качество) оставался верен себе, и потому, не давая спуска «чужому» Ю. Суровцеву за его политическое проституирование, не проходил мимо ошибочности методологии «своего» В. Чалмаева.

Я не стану здесь подробно излагать изящные диалоги с оппонентами, какие выстраивал Ланщиков, мастерски владевший техникой боя на поле своих противников (методологии социалистического реализма) и даже их оружием (цитатами из ленинских работ, которые он умел прочитывать не догматически). Хочу лишь обратить особое внимание на то, что он не был ортодоксальным критиком. Он умел и любил мыслить, вдумываться и вообще лезть вглубь, сопоставлять и оценивать реальное положение в конкретной ситуации. При этом в своем анализе он предпочитал называть вещи своими именами, не допуская заведомых передержек и всегда следуя соотносению литературного процесса с действительностью и верностью исторической правде. Ланщиков, как мало кто другой, умел вчитываться и читать не только между строк (есть и такие мастера). И после прочтения, если оно его «зацепило», он не брался выстраивать риторические фигуры, а ставил точный и порой беспощадный диагноз. Это был критик особой специализации, он не занимался «лечением», он умел находить, определять, что у человека и общества «болит».

А еще, на мой взгляд, он был не просто спорщиком, а замечательным спорщиком. Он начинал спорить с Чернышевским, и из этого спора выходила прекрасная книга о писателе-революционере. Он начинал спорить с убедительной работой Андрея Баженова «К тайне «Горя», и в результате этого спора на свет появлялась чудесная статья «Горе от ума» как зеркало русской жизни». Он брался спорить с Петром I, и возникал цикл его блестящих статей о исторических путях России. Такая вот была природа его критического таланта.

Не могу не сказать, Ланщиков был силен именно тогда, когда спорил, а не тогда, когда брался обличать. В 90-е годы он изменил себе и ушел в политику. Результат оказался предсказуем – многие его публикации наполнились атрибутами, далекими от литературы и приняли форму агитпослания. Однако в этом жанре он не преуспел. Тут важно понять, почему не преуспел. Мне кажется, дело в том, что в нем отсутствовали пренебреженные компоненты для создания подобного рода вещей – его натуре были противны политиканство и демагогия. Он и в советские-то времена ими не грешил. А без этого, во-первых, ни в вожди, ни в помощники вождей всякого пошиба ты ну никак не годишься; во-вторых, отношение к тебе всегда будет соответствующее: какой-то ты вроде бы и «наш», но все же странный. Что-то вроде «попутчика».

Что греха таить, демагогов хватает и хватало во все времена, и в чести они во всех лагерях: и в тех что «справа», и в противоположных – «слева». Поэтому достаточно перечитать сегодня статьи из раннего Ланщикова – «Лицом к действительности», из зрелого – «Капитан», из позднего – «Апостолы и жертвы сиюминутного», и сразу понимаешь, почему о Ланщикове всегда шла «слава» неудобного критика. Я говорю «всегда», потому что таким он был, начиная с первой своей книжки «Времен возвышенная связь» и до ставшей последней «О пользе праздного чтения». До такой степени неудобный, что даже, когда его не стало, в редакции одного журнала, напечатавшего заметки о нем в годовщину смерти, раздался звонок известнейшего критика-соратника из «своих» с недоуменным вопросом, а кто, собственно, такой Ланщиков, чтобы его вспоминать и о нем писать.

Но если уж выделять какую-то главную, ведущую черту Ланщикова-критика, то я назвал бы прежде всего его последовательность. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, обособив свой взгляд на проблему и поставив в 1969 году памятный многим диагноз: «Осторожно – концепция!», он, исходя из тех же убеждений, ничуть им не противореча, даст 1994 году блестящий историко-литературный анализ в статье «Ледокол» идет на таран».

Поэтому поговорим о том, где он сумел сказать свое весомое слово. Истинный писатель, а Ланшиков им был, уже в появлении своем непредсказуем. Он поздно пришел в литературу. И если есть такая профессия «Родину защищать», то, сняв офицерские погоны, он и в литературе оставался ее защитником.

Он защищал ее всегда:

и когда писал об этике и эстетике «исповедальной» прозы, и когда говорил о деревне и «деревенской» прозе, и когда показывал, что идеи Чернышевского имеют корни в таящемся в глубинах морального сознания крестьянина, который никогда не считал себя рабом, чувстве несправедливости такого положения, когда помещик, не служа государству, царю, остается господином,

и когда заявлял, что «не следует бить поклоны в сторону перестройки по каждому поводу, излишний словесный энтузиазм, не подкрепленный очевидным делом, как показала многолетняя история, далеко не всегда свидетельствует, говоря аккуратно, в пользу искренности намерений»,

и когда углублялся в прошлое, делая это по двум причинам: во-первых, исходя из того, что «прошлое освещает дорогу в будущее»; во-вторых, следуя своему убеждению, что «тот, кто сегодня покидает литературу и уходит в историю, по сути дела уходит на передовую».

При этом Ланшиков, замечу, никогда не ориентировался ни на правых, ни на левых, ни на западников, ни на славянофилов, ни на диссидентов, ни на «литпартийцев», ни на консерваторов, ни на новаторов, ни на дураков, ни на умных. Анатолий Петрович предпочитал, прочитав или выслушав любого, подумать, обмыслить и лишь затем сказать четко и ясно: «Мы должны ориентироваться на собственную историю и извлекать из нее уроки, ибо кто контролирует прошлое, тот реально держит власть в настоящем и имеет все предпосылки сохранить ее в будущем».

А еще, примечательно, он не хотел и не стремился делать вид, что серьезнее самого Гегеля. Даже тогда, когда высказывал суждения по самым общим, всеохватным проблемам бытия. Он был одним из немногих литературных критиков, кто мог себе позволить выступать в печати по вопросам и литературы, и культуры, и истории, и политики, и геополитики.

В мире, где царило обилие идеологических ярлыков, обвинений и фальшиво-патетических ссылок на бессмертное наследие известных партийных классиков, где «своим» прощалось все, «чужим» – ничего, беспартийный Анатолий Ланшиков умудрялся оставаться самим собой и отстаивать свои убеждения. Он последовательно воплощал, как заметил один из его товарищей, «устремленность к осмыслению современной литературы и жизни в свете многовековой истории, притом не в духе эффектных экскурсов в прошлое, а на основе серьезного его изучения и понимания».

По сути у него не было единомышленников. Главным образом потому, что он не признавал нравственных компромиссов. Тогда как некоторые его «единомышленники» в тех или иных ситуациях считали возможным склониться и даже наизнанку вывернуться перед властью, дабы, войдя в нее, считалось, потом сделать что-то хорошее. Только у «кормушки» они начинали чувствовать себя так хорошо – склонившись, даже удобнее, – что лучшего, оказывалось, им и не надо.

Он в чем-то сходил, но всегда в чем-то расходился даже с теми, с кем шел в одном направлении. Даже с ними он вечно умудрялся идти «не в ногу». Вот только и друзья, и враги произносили его имя всегда с чувством: одни с уважением, другие с ненавистью до головокружения и тошноты, по их собственному признанию, но в любом случае безразличия не было.

Здесь следует добавить...

Ланшиков не был пророком-просветителем, как Вадим Кожинов.

Он не был пунктуально-вездесущим мастером парадоксов как Лев Аннинский.

Не был литературоведом среди критиков и критиком среди литературоведов как Игорь Золотусский.

Не обладал талантом с улыбкой на интеллигентном лице прятать фигу в кармане, как Владимир Лакшин.

Анатолий Петрович никогда не самоутверждался, как многие из его коллег, зато помогал утверждаться и самоутверждаться другим.

В его письме не было блеска профессионального литературного критика, способного легко и просто писать по принципу «сегодня в газете, завтра в куплете» или «Чего изволите?».

Обычно на вопрос о творческих планах он отвечал, что их... нет, но есть настоятельное желание привести в порядок собственные мысли.

Как критик он не заботился о количестве своих почитателей, его интересовало качество его читателей.

А еще он не был, как это распространено среди литераторов, амбициозен. Это качество не наблюдалось у Ланшикова ни в 1967 году, когда он однажды не сдержался, публично выразив свою обиду за свое поколение: «Мы вот тоже уже приближаемся к 40-летнему рубежу, а нас по-прежнему продолжают величать «молодыми»; ни в середине 1980-х годов, когда заговорили, что Ланшиков превратился в лагере «консерваторов» чуть ли не в культовую фигуру.

Не был... не был... Другое важно – он был. И им двигал... Короче, он был из тех людей, кто наделен чертой, деликатно называемой азартом. Он всегда был благородным возмутителем спокойствия. Энергичным, упрямым, дерзким и своевольным.

Издательство заказывало ему книгу о Чернышевском – он соглашался и... влезал в крестьянский вопрос в России.

Власть и элита, еще не отойдя от перестройки, затевали новую революцию (или контрреволюцию, кому как больше нравится), а Ланшиков углублялся, как он считал, в самое насущное – в национальный вопрос в России.

Самая читающая страна расхватывала на ура повести Дарьи Донцовой и Юрия Полякова, а для Ланшикова в это время приоритетом становился разбор фальсификаций о Второй мировой войне.

Следуя пушкинскому «в просвещении стать с веком наравне», критик Ланшиков постоянно искал ответы на такие вечные и всегда современные вопросы: «Кто виноват?», «Что делать?» и «Будет ли существовать Россия?» Он так жил!

Он искал свой человеческий путь, идя дорогами Петра Первого, Пушкина и Гоголя, Герцена и Чернышевского, Сталина и Гитлера, Шукшина и Астафьева, Рубцова и Жигулина.

По большому счету, его мало волновало литературное закулисье – ни во времена партийного жесткого построения писательских рядов, ни в пришедшие им на смену разухабистые годы либерально-глянцевой вседозволенности. Он в литературе искал благородство, достоинство и соответствие предназначению великого народа. Радовался, когда находил. Был беспощаден, когда встречал вместо достоинства литературное мошенничество, холуйство, трюкачество, историческую ложь. Но и в таких случаях его критическое слово никогда не было злобным.

В нем самом ощущалось благородство. Не то внешне *показное* благородство, что отдает снисходительностью к другим, одаренным меньше или оказавшимся неправыми, а совсем иное, в котором чувствуется *порода* и понимание, что каждый заслуживает справедливости.

С завидным мастерством он писал и о прозе, и о поэзии, и о драматургии, и о работах своих коллег-критиков, причем, произведения классиков интересовали его ничуть не меньше написанных современными авторами. Но, смею заметить, литература всегда интересовала Ланшикова не сама по себе, а прежде всего как явление духовной жизни в великой истории великого народа.

Он искал если не единомышленников, то хотя бы собеседников, но и их находил, увы, не всегда. И оттого любой мог заметить налет грусти, сопровождавшей его по жизни даже в минуты, когда он чувствовал себя счастливым.

Сегодня можно услышать, что семинар молодых критиков Анатолия Ланщикова, несколько лет собиравшийся в ЦДА, а затем продолживший работу на его квартире, стал символом несгибаемости в деле просветительства.

Прямого воздействия на наше сознание Ланщиков, я бы сказал, избегал. Зато он не прочь был заняться нашим воспитанием. Воспитывал собой, всем, что у него было – образом мыслей, манерой поведения, отношением к делу, отношением к каждому из нас. Показывал, как надо «держат удар», когда бьют; как драться, когда схлестнулся в споре, и при этом сознавать, во имя чего? на какой стороне ты бьешься: за народное или за элитарное? И мы видели, осознавали, что будь ты хоть самым известным, опытным критиком, мастером в своем деле, напиши ты хоть сотни рецензий и статей, выпусти десятки книг, все равно, берясь за новую работу, каждый раз перед тобой неизвестность: что из этого выйдет? Причем, с первого слова, как правило, ты начинаешь «с нуля», будто только еще учишься писать. Словно впервые переступил порог и попал в новый для тебя и мало знакомый тебе мир... Мир иных жизней и иных мыслей – отличных от твоих.

...Последнее время мы с Анатолием Петровичем иногда перезванивались, не могу сказать, что часто. Виделись и того реже. В середине 1990-х годов по Москве пошли разговоры, что Ланщиков от критики практически отошел. Мол, сам признался, что если что и читает, то в основном подаренные ему книги, но писать что-то о прочитанном никакого желания у него уже нет.

Беллетристика той поры Ланщикова действительно увлечь не могла. И он углубился в историю. Почему? Зачем? Ответ можно найти в его обширной и глубокой аналитической статье, увидевшей свет под названием «Ледокол» идет на таран». Есть там простые слова, совсем по-домашнему сказанные одному из авторов: «Неужели только учась в академии, Вы впервые обнаружили, что историкам врать не привыкать?.. Я, например, гораздо больше удивляюсь, когда историк говорит правду». Речь шла на больную для Анатолия Петровича тему фальсификаций о Второй мировой войне. А объяснял критик модному романисту незамысловатую истину, что документы, как и люди, бывают порой честными, а чаще неизбежно пристрастными, и если их скомпоновать в заранее выстроенную концепцию, то правды не жди, выйдет одна лишь ложь, которая способна лишь дурачить людей.

Как-то мне на глаза попала, года через четыре после ее появления в журнале «Литература в школе», одна из последних его статей о классике – «Горе от ума» как зеркало русской жизни». Я зашел к нему, чтобы уговорить написать в серию, какую я в ту пору как редактор задумал и реализовывал в одном из издательств, небольшую книжку о «Горе от ума».

Ему было одиноко, и короткая, как я предполагал, встреча обернулась многочасовым разговором. Оказалось, что совершенно случайно я «попал в точку». Анатолий Петрович всю жизнь – это его слова – мечтал написать о русской драме, да вот все как-то не складывалось. Он загорелся предложением и согласился расширить журнальную публикацию о «Горе от ума» и написать еще две главы: про «Недоросль» и «Вишневый сад». В итоге даже родился заголовок будущей книги «Три века – три шедевра русской драматургии». «Я напишу, обязательно напишу, только бы глаза позволили...» – не знаю, кого больше, меня или себя, убеждал он.

Желая хоть чем-то порадовать его, я подарил специально принесенные два номера «Москвы» с моим романом. Но признался, что в последнее время помимо прозы неожиданно для себя обратился к литературоведению, и рассказал о новой выходящей в свет работе «Радости и горе счастливой жизни в России. Новый взгляд на «Войну и мир». Триптих». Ланщиков улыбнулся и достал свою книжку «О пользе праздного чтения», нашел нужную страницу, отчеркнул абзац и сказал: «Читай вслух». Я прочел подчеркнутое им место: «А если говорить

серьезно, то новое прочтение, осознание Толстого должно идти прежде всего через литературную критику».

На прощание он сказал: «Саша, спасибо тебе за твою преданность русской литературе». Анатолий Петрович, подчеркну, отношение к русской литературе всегда ставил выше личных отношений. И хотя это уже была ненастная для него пора, когда он фактически отошел и от литературных баталий, и от политики, которой отдал несколько лет своей жизни, а значит, настало время, когда смолк домашний телефон, и «дорогие друзья и ученики» уже не донимали как раньше визитами, он поблагодарил не за приход, не за память о нем и даже не за поступившее предложение, а лишь за преданность литературе.

На первой странице последней подаренной им книги «О пользе праздного чтения (литературные заметки в ненастную эпоху)» есть фраза, сказанная им в беседе с журналистом газеты «Литературная Россия»: «Все зависит от времени и от обстоятельств». В день, когда из моих рук упал синий томик, на обложке которого золотым тиснением было отпечатано «Анатолий Ланщиков. Вопросы и время», оборвалось отведенное судьбой время и истаяли вопросы, на которые всю жизнь искал ответы интересный, по-настоящему разносторонний, остроумный литератор с безупречной и человеческой, и профессиональной совестью, московский критик, вдохновенно-стремительный и в слове, и жизни.

Обстоятельства сложились так, что его заветная мечта написать о шедеврах русской драматургии так и не осуществилась...

Горько оттого, что «чувство пути», которое Ланщиков некогда ощущал в себе, обернулось для него чувством страшного одиночества в последние годы. И в тоненькой, в обложке, а не в переплете, чем-то напоминающей его самую первую, книжке «О пользе праздного чтения», кажется, единственный раз у него прорвется собственная душевная боль: «И, устранившись будущего, бежишь в спасительное прошлое».

Но «история, – был убежден он, – развивается по законам высшей справедливости». И хочется думать, что справедливость не миновала его там, куда он ушел от нас.

Ал. Разумихин

О чем молчала земля? Вместо предисловия

Духовную культуру нельзя ни придумать, ни создать в придуманные сроки; она накапливается веками, в ее состав входят усилия не только многих людей, но и многих веков, разумеется, те усилия, что постоянно сохраняют преемственную связь и подразумевают единую нравственную цель, далеко выходящую за пределы сиюминутной выгоды.

Когда мы принимаемся рассуждать об «уроках Толстого», то непременно указываем на эпичность, философичность, психологичность произведений великого писателя, а между тем в первом же своем рассказе «Набег» Толстой дал образец высокой художественной публицистичности, о чем у нас еще представится случай поговорить более подробно.

Как-то в одной из частных бесед Толстой, уже будучи автором и «Войны и мира», и «Анны Карениной», заметил своему оппоненту: «Ничего писатель не вправе желать зажигать. Он должен не зажигать, а сам гореть». Действительно, когда писатель «сам горит», то его личное обращение к читателю не разрушает живую ткань произведения, а органически в нее вливается, усиливая его общее звучание. И тут Толстой не изобретал ничего нового, он лишь развивал – на новом этапе художественного постижения действительности – традиции русской литературы, идущие к нам еще от автора «Слова о полку Игореве» и так яростно преломленные позднее в страстном слове Аввакума.

Вскоре после публикации повести В. Распутина «Пожар» ее автор в беседе с С. Залыгиным заметил, что современная русская проза все более и более тяготеет к публицистичности. И тут с В. Распутиным нельзя было не согласиться, и не только потому, что многие наши признанные художники слова все чаще и чаще стали выступать в печати с публицистическими статьями; в последние годы в самих беллетристических произведениях заметно повысился удельный вес публицистичности.

Вероятно, читатели повести «Пожар» сразу же уловили ее связь с повестью «Прощание с Матерой», которая в свое время вызвала немало самых разных толков и споров, не замыкаясь лишь на оценке художественных достоинств произведения или значимости и интересности заключенной в нем сюжетной коллизии. Порой автору «Прощания с Матерой» ставили в вину якобы неоправданную скорбь по уходящей старой деревенской жизни, что так противоречит неизвестно кем запланированной и обязательной для всех радости, которую должен возбуждать каждый шаг научно-технического прогресса, какие бы последствия этот шаг ни вызывал в нашей сегодняшней жизни, не говоря уже о тех последствиях, которые он сулит в будущем.

Финал повести «Пожар» в окончательной редакции звучит так:

«Молчит земля.

Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты?

И разве молчишь ты?»

Действительно, молчит ли земля? Нет, земля наша никогда не молчит, ее неумолкающий голос постоянно вещает о чем-то главном. Другое дело – слышим ли мы его? К сожалению, на этот вопрос утвердительно отвечать не приходится. В постоянном и так часто пустом словоговорении, в страшном и непрерывном гуле, который мы сами творим и под аккомпанемент которого пролетают дни нашей жизни, мы не слышим самых нужных слов земли, они летят мимо нас, а мы пугаемся собственной судьбы по причине глухоты, точнее, оглушенности, когда не слышатся ни зов земли, ни ее предупреждения.

Когда-то человек, уличивший себя во лжи, неискренности, суесловии, давал обет *молчания*. Не думаю, что мы сейчас совершенно не нуждаемся в подобного рода диете. Возможно,

при строгом ее соблюдении мы вновь научились бы слушать, и «молчаливая наша земля» поведала бы нам то, что так необходимо знать сегодня, и вновь восстановился бы тот «диалог», без которого земля становится всего лишь стартовой площадкой для полетов неизвестно куда и неизвестно зачем.

Минуло немало лет, воды, затопившие Матеру, унесли в историю и те давние споры, но они не унесли в историю распутинское сказание о затопленной Матере, оно, омываемое быстротекущими водами времени, как бы присутствует и в сегодняшнем дне. Наше сознание, сопротивляясь универсальному закону всепреходящности, закрепляет если и не навсегда, то в различной степени надолго все то, что может служить материалом для создания культурного пласта, без которого человечество жить не может, как не может жить богатая флора без культурного почвенного пласта, наработанного веками и тысячелетиями. Нет такого пласта, и нет никакой жизни и даже ее следов – бескрайняя равнодушная пустыня перекачивает из ниоткуда в никуда свои сухие мертвые пески с упорством, равным бессмысленности проделываемой ею работы.

Творчество В. Распутина всегда было публицистично. Если же его повесть «Пожар» и представляет здесь какое-либо исключение, то лишь в том смысле, что публицистичность в ней является не только смысловой, но и художественной основой, что обусловлено выбором главного героя, а выбор героя обусловлен самим *временем*. И этим героем в повести «Пожар» является *земля*. Потому-то автор не столько заботился о раскрытии характера Ивана Петровича Егорова (вроде бы центральной фигуры произведения), сколько о выявлении его судьбы в ее нечастных проявлениях, хотя сам Иван Петрович всего лишь частность в диалоге *Человек – Земля*, однако та частность, без которой диалог этот состояться не может.

«Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни и выносом из нее, – Егоров, Егоров из Егоровки. Вернее, Егоров в Егоровке».

Вероятно, сам Иван Петрович никогда не рассуждал и не размышлял на подобные темы, но автору важны были не рассуждения Ивана Петровича, а повороты его судьбы, важен «Егоров в Егоровке», точнее, Егоров без Егоровки. Надолго Егоров выезжал из Егоровки только на войну, а навсегда он ее покинул в силу совсем уже иных, мирных обстоятельств: Егоровку постигла та же участь, что когда-то постигла Матеру, – затопление. От века велось: людские поселения (деревни ли, города ли) всегда переживали своих жителей, вбирая в себя их созидательный труд, а тут получилось наоборот – Егоров остался, а Егоровки не стало, ушла навсегда под воду.

«Новый поселок, в который свезли шесть таких же, как Егоровка, горемык и где сразу утвердился леспромхоз, назвали по обширным лесам, а на теперешний взгляд, по сырю – Сосновкой».

Человек при рождении получает собственное имя, к нему еще приобщается имя отца (отчество) и фамилия рода, чаще всего образованная от названия местности, к которой этот род как бы засвидетельствовал свою принадлежность.

Иван Петрович Егоров... Егоровка исчезла, и фамилия «Егоров» утратила свой исторический смысл, стала как бы случайной и неустойчивой, как неустойчивым и случайным оказалось название нового поселка – Сосновка.

Нет, Егоров не драматизировал при переселении события так, как это делала тетка Дарья из Матеры, тогда им владело двойственное чувство: «И когда грянула весть о затоплении, когда подошел срок переезжать... признаться, Иван Петрович расставался с Егоровкой тяжело, не без этого, как всякий человек, имеющий память и сердце, и в то же время с тайным удовлетворением, что не он решил, а за него решилось, перевозил и ставил на новом месте он свою избу: там было хорошо, и здесь с годами должно быть лучше».

Но с годами лучше не стало, хотя, возможно, стало удобнее, но удобнее – это еще не значит, что лучше, во всяком случае, для таких людей, каким был Иван Петрович Егоров или его односельчанин Афоня. Идут эти немолодые мужики и беседуют, грустно беседуют:

«– Устал я, Афоня. Истервозился. Сам видишь, никакого от меня толку.

– А Егоровка?

– Что Егоровка?

Думал, скажет Афоня: в нас она, в нас. Думал, начнет говорить, что уедем мы отсюда – и будто не было ее, Егоровки нашей, никогда, а пока здесь – и память о ней живет. Потому что и сам так же рассуждал. Но сказал Афоня:

– Найдешь ты место на воде, где стояла Егоровка?

– Не знаю. Прикину – найду.

– А я вот хочу нынешним летом знак какой поставить на этом месте. Что стояла тут Егоровка, работницей была не последней, на матушку-Россию работала».

Афоня высказывает не только свою мысль, но и авторскую, и эта мысль естественно находит живой отклик в измученной душе Ивана Петровича. У каждого из них болит душа, но болит в одиночку; общая душа, возвращенная общим местом жизни, расщепилась, распалась с исчезновением Егоровки, но и по своему исчезновению Егоровка продолжает служить людям, памятью о себе она восстанавливает их духовные связи, исполняя теперь культурную миссию собирания общей души, без которой или в отдельности от которой человек нередко превращается или, лучше сказать, вырождается *в архаровца*.

Мне лично слово «архаровец» знакомо еще по довоенному детству, но затем в последующие годы оно как-то затерялось среди остальных старых и вновь появившихся слов и перестало что-либо обозначать. Изредка оно промелькивало в книгах, но в тех, что о давней жизни, к примеру, в «Краже» В. Астафьева, в которой рассказывается о детдомовском детстве тридцатых годов. И вот в повести «Пожар» оно вдруг обрело новую жизнь, наполнившись глубоким современным содержанием.

«За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду оргнабора. И верно, не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеевич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:

– Ломайте!

Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним».

Архаровцы, они как бы нигде никогда не живут, они лишь присутствуют в том или в другом месте, любое место для них случайно и не освящено ничем, кроме сулящей им долгой или короткой выгоды, причем чаще всего сомнительного свойства. Нет-нет, это не разбойники и не бандиты, но в силу беспутности и бесшабашности они не дорожат ничем, кроме минутного удовольствия, даже жизнь, в том числе и своя, не представляется им самоценной. Так, на пожаре, в общем-то, из-за ничего порешили архаровцы честного дядю Мишу Хампо, попутно отправился на тот свет и архаровец Соня. За пустяки рассчитались двумя человеческими жизнями.

Жизнь никогда не была идеальной ни в деревнях, ни в городах, всегда в ней находили свое место и воры, и пьянчуги, однако место их в жизни всегда было определено, они находились на отшибе жизни, идеал человеческого общежития вырабатывался помимо них, оттапливаясь в противоположную сторону от этого отшиба, где царствовали не чувства, а вечно всклокоченные страсти.

Жаль Валентину Распутину и Матеру, и Егоровку, что перестали быть на земле, но скорбит он не по затопленным деревням, а по той культуре общежития, что вырабатывалась веками и которая давала каждому духовную опору в самые лихие годы жизненных испытаний. Съехались люди из затопленных деревень в новое поселение, перемешались, и потекла новая, но какая-то странная жизнь...

«И не то плохо, что после смертей, свадеб, разделов и торгов одна деревня стала проникать в другую, жизнь невозможна без таких проникновений, а то пошло неладом, что взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну дорогу – в магазин...»

Магазин для подобных людей стал и клубом, где можно обсудить всякие всякости; и торжищем, где можно извлечь очевидную или мнимую для себя выгоду; и молельным домом, где можно покаяться в свершенных грехах, а заодно воодушевить себя на свершение новых. Страсти, распаленные хмелем, придают здесь дополнительную решимость и до предела возбуждают азарт. В хмельном экстазе человек окончательно теряет себя и отдается во власть общей злой воле. Но и это не самое страшное.

«Водились, конечно, пьянчуги, где они не водились на святой Руси, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть, – такого нет, не бывало...»

Вот где источник непроходящей тревоги писателя, и эта тревога не позволяет ему в заботе о высокой художественности передоверять свои чувства, свою гражданскую боль и человеческую скорбь другим лицам, то есть героям собственных произведений, и писатель идет к читателю с прямым словом, которое мы и называем публицистикой.

Нет, нам, кажется, не дано ни о чем договориться окончательно, даже об очевидном. Спорим, спорим, вроде бы приходим к какому-то общему знаменателю, но это нам только так представляется, будто мы приходим к какому-то общему знаменателю, на самом же деле просто устаем и тогда делаем вид, что пришли к нему. Или нас отвлекут какие-то другие заботы, которые нам покажутся вдруг более важными, и мы опять сделаем вид, что уже приблизились к той истине, а на самом деле ни к какой истине мы и не приблизились, просто у нас возникло желание ввязаться совсем в другой спор. А случись какая-нибудь зацепка, и мы вновь вернемся к старому спору и вложим в него столько энтузиазма, что непосвященный невольно подумает: наверняка мы нечаянно открыли для себя и для остального мира совершенно свежую проблему, о которой прежде никто не догадывался. И начнется этот спор снова с нуля, и окончится он опять же нулем, то есть стоянием на той же дистанции от истины или хотя бы от общего знаменателя.

Да, современная проза сделала крен в сторону публицистики. Никто этого факта и не оспаривает. Но вместо того чтобы выяснять, почему тот или другой писатель обратился к прямому слову, и раскрыть содержание этого слова, мы вновь начинаем доказывать, что публицистичность идет во вред художественности и, дескать, «Прощание с Матерой» выше «Пожара», а «Пастух и пастушка» выше «Печального детектива». Нет, споры тут бесполезны. Лучше я приведу старые слова Достоевского. С одной стороны, у Достоевского есть проверенный временем немалый авторитет, а с другой – давность его слов укажет нам на давность возникшего нынче у нас спора, а стало быть, определит и срок нашего очевидного топтания на одном и том же месте.

«Положим, – писал Достоевский еще в 1861 году, – что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; дома разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял – или имение, или семью. Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского «Меркурия»... И вдруг на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:

Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье

Сонного ручья.

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

...Не знаю наверно, как приняли бы свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола... Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности... Стало быть, виновато было не искусство, а поэт, злоупотребивший искусством в ту минуту, когда было не до него. Он пел и плясал у гроба мертвеца... Это, конечно, было очень нехорошо и чрезвычайно глупо с его стороны; но виноват опять-таки он, а не искусство».

Мы в силу своей необычайной интеллектуальной развитости очень любим потолковать как о сложностях самого

Достоевского, так и о сложностях его произведений. А я вот подумал: чего стоят все эти наши толкования о сложностях, если до нас не доходит смысл самых простых вещей, о которых Достоевский писал в оправданной надежде, что его поймет, как мы теперь говорим, самый широкий читатель?

В. Распутин в своей повести «Пожар» показал нам, как разрушительно действует стихия столь привычного, управляемого нами в повседневной жизни огня, но это лишь одна сторона дела. Другая сторона – архаровщина, парализующая всякое общественное сопротивление любой общей беде. Пожар на несколько часов усилиями архаровцев сделал горящие склады как бы *ничьими*. Что из этого получилось – мы хорошо знаем. А вот земля, которая, как нам кажется, молчит, вот уже многие десятилетия пребывает в состоянии *ничейной*. Что из этого получилось, мы тоже хорошо знаем, но молчим и стараемся заглушить каждого, кто пытается возобновить с ней столь необходимый человеку диалог. Распутинский «Пожар» как бы предвосхитил трагедию Чернобыля и дал наперед определение тем, по чьей вине она произошла. Архаровцы – вот их общее имя, независимо от места, где они сейчас находятся, и независимо от положения, которое они сегодня занимают в обществе.

Впрочем, если уж говорить откровенно, то никто сегодня не требует ни от кого никакого «Шепота...». Это просто имитируют эстетические обмороки, когда слышат от писателей мысли, противоположные тем, которыми загружена собственная голова. Это так, для начала, падают в притворный обморок: «Ах, как нехудожественно! Ах, как нехудожественно!» А затем без всяких тонкостей и переходов выносят грубый и категорический приговор: «Раз ты думаешь иначе, значит, ты ретроград!» Что в переводе на современный политический язык означает – «противник перестройки». В стародавние времена подобный прием назывался «апелляцией к городовому», нынче он никак не обозначается, видимо, ввиду того, что получил слишком широкое применение, но не получил равнозначного общественного осуждения.

Но как все-таки прекрасно устроен человек: что бы там ни происходило, а он упорно верит в светлое будущее, если и не в собственное, то в общечеловеческое. Коли порой и впадаешь в губительный скептицизм, то на смену ему непременно приходят спасительные надежды.

Сейчас мы надеемся, что если не завтра, то в скором будущем навсегда исчезнут из нашего лексикона слова: «дефицит», «очередь», «пьянство», «хамство», «демагогия», «бюрократизм», «взяточничество», «протекция», «коррупция» и т. д. Пусть не сразу, но когда-нибудь мы все же сумеем преодолеть, нет, не *трудности* (без них и без их преодоления и настоящую жизнь как-то трудно представить), а те жизненные неудобства, что делают жизнь не столь *трудной*, сколь *унизительной*. И такой ее делают архаровцы, но не только те, что сбиваются в ватаги возле общедоступных магазинов, о чем писал В. Распутин, а и те, которые нигде не толпятся, они даже вроде бы рассеяны, но это только так, для видимости. Общая задача или общая опасность стягивает их, как магнит булавки.

Общественный подъем второй половины пятидесятых и начала шестидесятых годов вызвал у архаровцев-демагогов неподдельную тревогу и многому их научил. Энтузиазм ими был проявлен завидный...

Не возьмусь утверждать, что неудовлетворительность общеобразовательного дела, которое мы замучили постоянными нововведениями сверху, связана лишь с неутомимой деятельностью архаровцев из Академии педнаук, но так или иначе, а вот уже долгие годы неумолимость школьных программ отбивает у учителей всякую охоту к творчеству, а у учеников гасит естественную в их возрасте любознательность. Скука и формализм, кажется, обрели в школе постоянную прописку.

Хотелось бы спросить у наших, обремененных высокими академическими званиями, медиков: «Почему врач из творца по преимуществу превратился по преимуществу в чиновника? Почему современную медицину покинуло элементарное милосердие и как уживается клятва Гиппократата с нынешней строго соблюдаемой иерархией медицинского обслуживания?» А может быть, Академия медицинских наук давно уже на каком-нибудь своем соборе эту клятву отменила как пережиток языческих времен?

Не наберусь смелости утверждать, будто «продовольственная проблема» своим появлением на свет обязана исключительно деятельности Академии сельскохозяйственных наук, однако, когда регулярно приходится посещать продовольственные магазины, может возникнуть и такая неосторожная мысль.

А вот и главный Храм науки... Но о нем я высказываться поостерегусь, ибо не располагаю точными сведениями, насколько подлежит буквальной и универсальной практической интерпретации заповедь: «Наука требует жертв».

Я отдаю себе отчет в том, что современное общество и современное государство не могут нормально функционировать без различных управленческих систем. Настоящим злом та или иная система становится лишь тогда, когда перерождается в бюрократическую. Бюрократ, то есть чиновник-архаровец, – вот творец, он же и пользователь смертоносного для общественного прогресса оружия – *демагогии*. Убивая мысль, убивая животворящее чувство, демагогия не только заглушает в человеке всякое творческое начало, но и порождает тот испуг, когда каждый начинает бояться каждого, а порой даже и самого себя.

Конечно, не следует каждого управленца считать бюрократом. Бюрократ – это управленец-архаровец любого ранга и любой системы, не обремененный государственным мышлением. А если эту формулу упростить до обыденного сравнения, то бюрократ более всего схож со спекулянтом, то есть архаровцем без маски, продающим вещи по «двойной цене». Только торгует бюрократ не вещами, а правами. А главное: создавая искусственный правовой дефицит, бюрократ лишает нас законных прав от имени государства, а если «выдает» их нам, то делает это уже от собственного имени, как тот спекулянт, что в режиме товарного дефицита «выручает» нас за «двойную цену». Различны лишь подробности, а механизм один и тот же.

«Если бы ты, Диоген, умел поклоняться богатым, тебе не пришлось бы довольствоваться хлебом и водой», – увещевал Аристипп.

«А ты, Аристипп, если бы умел довольствоваться хлебом и водой, тебе не пришлось бы кланяться богатым», – отвечал ему Диоген.

Философия Диогена может спасти в случае со спекулянтом, а в случае с бюрократом едва ли. Без особого ущерба для собственного достоинства можно «довольствоваться хлебом и водой» – во время минувшей войны унижали не лишения, а поражения на фронтах. Но нет и не может быть такой высокой цели, во имя которой следовало бы отторгать в чью-либо пользу гражданские права.

Развенчание после XX съезда партии культа личности носило у нас острый, но не очень продуктивный характер, поскольку критика культа личности Сталина велась с прежних позиций, с позиций философии культа личности: на Сталина были возложены все грехи, и таким образом он как бы сохранил свое бывшее всемогущество, пусть и с отрицательным содержанием. Рядовому же человеку по-прежнему отводилась роль «винтика» как с точки зрения его прав, так и с точки зрения его личной исторической ответственности. Усилиями архаровцев-демагогов критика культа личности Сталина велась не во имя прав *личности*, а во имя спокойствия на ступенях иерархической лестницы власти. Спокойствие было достигнуто, и критика культа личности потихонечку заглохла.

Мы сейчас бросаем немало справедливых упреков в адрес молодежи, но куда менее охотно доискиваемся до причин падения нравственного и гражданского тонуса у молодого поколения. Ведь в период застоя даже о самой правде было наговорено архаровцами-демагогами разных мастей и разных отраслей столько лживых слов, что правда переставала восприниматься как нечто существующее в жизни или должствующее в ней существовать. И тут главной жертвой архаровцев-демагогов стала, конечно, молодежь. Впрочем, может, молодежь-то скорее других освободится от пережитков застойной эпохи, которые еще не успели укорениться в ее сознании.

Но прошлое, даже ближайшее, существует не для того, чтобы посылать в его адрес упреки, по сути дела уже бесполезные, и тем самым вольно или невольно льстить себе, вроде бы уже вознесшимся над всеми ошибками прошлого. Прошлое и даже его ошибки дают нам возможность понять, что делалось так, а что не так, а то ведь, чего доброго, перестроимся на такой манер, что потом вообще придется не перестраиваться, а строить все заново.

Демагогия – старое и испытанное оружие тех, для кого обман стал нормой и даже законом жизни, демагогию нельзя ни отменить, ни упразднить, как нельзя отменить или упразднить болезни, впрочем, демагогия и есть болезнь общественного сознания, и с этой болезнью не так уж сложно было бы бороться, будь демагогия всего лишь книжным синонимом бытовому слову «обман». Но демагогия, в отличие от бытового обмана, явление структурообразующее, вернее, структуропроникающее. Она, используя естественную для любого государства должностную и прочие иерархии, наполняет их особой силой, парализующей всякую общественную жизнь.

Заботы демагогов не только никогда не совпадают с истинными заботами народа и государства, но всегда противоречат им. Стратегия у демагогов выработана давно: человек должен быть низведен до «винтика», народ расструктурен до толпы, в которой преобладают инстинкты и которая ждет лишь внешнего зова. Подавить сознание народа, подавить сознание личности – эти задачи интеллектуальных архаровцев неизменны.

Дефицит интеллектуальной честности – вот серьезнейшая проблема, перед которой сегодня стоят деятели науки, культуры, литературы, просвещения и руководящие работники всех рангов. Цель социализма не есть создание общества безграничного потребления, а его идеал не есть построение бездонного корыта, у которого оттачивались бы и удовлетворялись гастрономические вкусы и тщеславные чувства современного респектабельного архаровца. Цель социализма есть построение общества *нравственного благосостояния*, в котором каждый станет ощущать *равнодостоинство* с каждым и демократические конституционные права

будут не только гарантироваться законом, но и обеспечиваться взыскательным нравственным чувством самого общества.

«Ах, это все не о художественном!» – воскликнут архаровцы от литературы в притворном испуге за судьбу отечественной изящной словесности. Нет, мы не казним, как это сделали предполагаемые Достоевским лиссабонцы, нашего поэта-современника, который вдруг сегодня напишет что-нибудь вроде «Шепот, робкое дыханье...». Но в то же время и не посчитаем, что он при всей его поэтической чуткости выразил нашу общую устойчивую боль.

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...

По-моему, уже требует.

Автобиография поколения

Осторожно – концепция! Полемические заметки

1

«Концептуальное» поветрие стало каким-то стихийным бедствием. Стихийным потому, что трудно сказать, с чего оно началось; предугадать, когда оно окончится; назвать общие причины, вызвавшие его к жизни; а главное – что ему противопоставить. Поветрие это кочует из одной области знаний в другую и теперь, кажется, всерьез захватило нашу литературную критику. Пока мы можем назвать только частные причины и выявить отдельные признаки этого поветрия.

Если, скажем, вам недосуг разбираться во всех сложностях современного литературного процесса, если у вас недостает аргументов в пользу ваших пока еще туманных предположений – пишите статью и публикуйте ее в «дискуссионном порядке». В таком случае вы можете игнорировать элементарную логику, вы можете нисколько не заботиться о вескости высказываемых суждений и обоснованности выводов, главное – придайте всему разговору концептуальный характер и оснастите его самыми дерзкими терминологическими новшествами.

Вслед за вашей статьей развернется дискуссия. И не беда, если в ходе ее ваши оппоненты вдруг докажут, что вы говорили вздор. Примите такой поворот дел мужественно и хладнокровно: пройдет совсем немного времени, и навечно забудутся самые аргументированные возражения ваших оппонентов и ваша собственная бездоказательность – зато останутся в памяти контуры вашей концепции да ваши былые терминологические новшества. В дальнейшем на них можете и опираться – вторично опровергать вас ни у кого не будет ни сил, ни духу.

Что все будет именно так, можете не сомневаться, и пусть вас не смущают слова Александра Блока, высказанные им на заре нашего века, когда скорее всего и зарождалась отечественная страсть к концептуальным упражнениям. «Право, – писал гениальный поэт, – если обращать столь лестное внимание на новейшие теории, то их расплодятся десятки. Если же все мы признаем в один прекрасный день, что эти термины – пустые слова, то они и умрут мгновенно, как все неудачные слова».

Но можете не опасаться. В том-то все и дело, что такой «прекрасный день» никогда не наступит, ибо здесь незыблемым условием должно быть «все мы». А поди добейся этого «все мы»...

Но пока оставим в стороне наше прошлое и обратимся к животрепещущей действительности. Время еще не стерло в памяти опубликованную на страницах «Литературной газеты» статью, в которой критик Ал. Михайлов познакомил нас с концепцией «интеллектуальной» поэзии. Разумеется, статья была опубликована в дискуссионном порядке.

И в выступлениях оппонентов и в выступлении, заключающем дискуссию, концепция «интеллектуальной» поэзии была отвергнута как несостоятельная. К чести Ал. Михайлова нужно заметить, что он верно оценил объективные итоги дискуссии, развернувшейся по поводу его концепции, и, кажется, больше не настаивал на ее применении в анализе литературного процесса. Однако, как говорится, слово не воробей... В августе минувшего года «Литературная газета» публикует в дискуссионном порядке статью А. Бочарова «Многообразие – какое оно?», в которой автор не только снимает кавычки с термина «интеллектуальная» поэзия, но

и считает в какой-то мере возможным строить свою новую концепцию на опровергнутой концепции критика Ал. Михайлова – благо аргументы оппонентов забыты, а контуры концепции еще помнятся.

Отстаивая теорию многообразия направлений в современной литературе, А. Бочаров, будто забыв объективные итоги дискуссии по поводу «интеллектуальной» поэзии, как ни в чем не бывало пишет: «Я убежден, что будущие историки литературы выделяют в литературе 60-х годов направление интеллектуальной лирики – реально выявившее себя в преемственных и локтевых связях, в исторической закономерности и эстетической цельности».

Не надеясь только на будущих историков литературы, А. Бочаров призывает и современников вдохновиться на такую работу, правда, как-то не очень веруя в ее успех. «Но работа подобного рода, – беспокоится он, – должна прежде всего опираться на общественное признание правомочности самого направления».

Итак, нас начинают увещевать: вы сначала поверьте просто на слово, что «интеллектуальная» поэзия как направление существует и даже лидирует, и тогда мы в доказательство напишем «работы подобного рода». Оказывается, «ключ к воздействию» вовсе не познание, как поначалу утверждал в своей статье А. Бочаров, а различного рода увещевания...

«Не нужно придавать им (направлениям. – А. Л.) некую глобальную значимость, но учитывать их тем – на сей раз уже предупреждает критик, – кто профессионально занимается литературой, необходимо». Как видим, А. Бочаров нашел довольно своеобразный «ключ к воздействию»: не примешь «теорию направлений», будешь отлучен от профессионального занятия литературой.

Пожалуй, если всерьез принять условие А. Бочарова, то в первую очередь должны быть отлучены от профессионального занятия литературой все его оппоненты (Г. Бровман, В. Оскоцкий, М. Пархоменко). В их выступлениях довольно аргументированно говорилось о принципах стилевого многообразия современной советской литературы, а М. Пархоменко взялся даже дать небольшой библиографический обзор на эту тему, но вопрос о многообразии направлений их никак не соблазнил.

Беда, конечно, не в том, что А. Бочаров завел непривычный разговор о многообразии направлений – здесь, на мой взгляд, нет ничего недопустимого. Беда в том, что он окончательно запутал вопрос, в котором и так не было желаемой ясности, и не привел в защиту своей теории «многообразия направлений и школ» каких-либо убедительных аргументов.

Теперь вот давайте и посмотрим, как же формирует А. Бочаров свои направления. «А разве, – спрашивает он, – не утвердили Г. Бакланов, Ю. Бондарев и начавший несколько позже В. Быков важное направление в военной прозе – то, которое можно определить как направление драматического психологизма?» А вот его главные признаки: «...максимальная концентрация действия – один бой, одно подразделение, одна нравственная ситуация – для того чтобы крупнее показать переживания человека, выявить психологическую правду его поведения в условиях достоверно показанного фронтового быта».

Допустим, перечисленные признаки верно характеризуют первые повести Бондарева и Бакланова, но вот дают ли они основания говорить о наличии здесь направления? Достаточно взять бондаревскую «Тишину» или баклановский «Июль 41-го года», как станет ясным, что теперь для характеристики «баклановско-бондаревского» направления нам уже потребуется называть совершенно другие признаки.

К. Симонов, по А. Бочарову, составляет самостоятельное направление в военной литературе, ибо он «выбрал их (Бондарева и Бакланова. – А. Л.) умение видеть «пядь земли» уже для создания широкой панорамы войны». По-моему, будь это и так, то опять нет еще никаких оснований говорить о направлении, во всяком случае, степень охвата тех или иных событий еще не повод разводить писателей по разным направлениям.

А. Бочаров утверждает, что газетная статья ограничивает возможности автора. Утверждение справедливое. Только к чему было спешить, зачем было заводить на страницах газеты разговор, который нельзя «серьезно аргументировать»? Посмотрите, какие странные признаки легли в основу формирования направления, которое связывается с именем В. Закруткина. «Отчетливо и с полемической убежденностью выявляет себя группа прозаиков, работающих над большими эпическими полотнами, – сообщает критик, но тут же оговаривается: – Эти произведения не являются собственно эпопеями – для этого им не хватает подлинно эпических характеров, – но они стремятся захватить широкое течение жизни, подробно описывают реальные исторические события той или иной эпохи, активно используют сочетание романистики и публицистики».

Что же это, спрашивается, за направление, представители которого только стремятся захватить «широкое течение жизни», но не захватывают его; «описывают реальные исторические события», но не осмысливают их; заодно не создают «эпических характеров»; пишут эпопеи, не являющиеся эпопеями?

Это очень легкое дело – изобрести «направление» (по самым порой случайным признакам), дать ему название и по собственному усмотрению подводить под него писателей. «Под эти названия стараются часто затащить писателей, как в участок, – «для порядку», или чтобы «не ходили несчитанные», как в свое время писал Александр Блок.

А «участок», надо сказать, «участку» – рознь. И главное – уж больно разные репутации они создают. Хорошо, например, оказаться в «участке» с репутацией «овечкинского» направления. Во-первых, оно, это «овечкинское» направление, «своеобразное и сильное», во-вторых, это направление дает повод говорить о «гуманистических концепциях современной литературы», в-третьих, для этого направления «повседневные заботы сельских жителей, их размышления над смыслом жизни, их глубинное отношение к окружающему миру являются воплощением социально-нравственного опыта всей трудовой массы».

Совсем другое дело – направление «деревенщиков» (В. Солоухин, М. Алексеев, И. Мележ). Признаки этого направления не указаны, говорится только, что представители его не близки В. Тендрякову и Ф. Абрамову, но близки В. Чивилихину и А. Андрееву. Однако передвижение «деревенщиков» между этими двумя парами равным счетом ничего не проясняет, так как сами пары никак не охарактеризованы.

И все-таки не нужно быть особо проницательным, чтобы понять, какой «участок» определил А. Бочаров для так называемых «деревенщиков», – тут достаточно припомнить признаки «овечкинского» направления и что «деревенщики» противостоят ему.

Можно не сомневаться, что даже А. Бочаров не сумел бы доказать, что алексеевская «Карюха» противостоит крутилинским «Липягам» или беловскому «Привычному делу», что М. Алексееву чужды «повседневные заботы сельских жителей, их размышления над смыслом жизни» и т. д. Трудно себе представить, каким образом А. Бочаров стал бы доказывать, что «о гуманистических концепциях современной литературы» больше оснований дают говорить произведения Е. Дороша, нежели В. Солоухина. Но тут А. Бочаров благоразумно не прибегает ни к каким доказательствам и, по-моему, правильно делает.

А. Бочаров понимает всю шаткость своих построений и потому торопится предварить законные возражения. «Вот памятный всем пример, – невинно обращается он к читателю. – Едва было выдвинуто понятие «интеллектуальная поэзия» и в связи с этим названо несколько писательских имен, как посыпались обиды: а остальные глупы, что ли?..»

Разумеется, остальные не глупы. Но как ни странно, а приходится доказывать, что нельзя формировать направления по признакам, которые характеризуют метод социалистического реализма в целом (вспомните «овечкинское» направление), нельзя расставлять писателей по разным направлениям только в силу того, что у одних процесс мышления протекает «в сфере логических понятий», а другим свойственно «эмоционально-образное мышление» (вспомните

направление «интеллектуальной» поэзии). Писатели, которые пишут эпопеи, не являющиеся эпопеями, тоже не могут составить самостоятельного направления, как не может служить главным признаком направления и то, насколько широко писатель охватит определенные исторические события.

Оспаривая некоторые положения статьи А. Бочарова, я был бы готов поддержать его общее намерение, окажись в его рассуждениях искреннее стремление «сделать следующий шаг – к осмыслению реально существующих творческих направлений и школ», положи он в основу своих исканий выявление принципиальных художественных признаков, на основании которых необходимо и возможно одну группу писателей отличать от другой и чтобы эти группы действительно выглядели самостоятельными устойчивыми «промежуточными» образованиями. Но в конце концов меня тревожит не позиция критика А. Бочарова, меня тревожит сейчас другое...

Пройдет время, и забудется, что оппоненты автора статьи «Многообразие – какое оно?», по сути дела, уклонились от дискуссии, забудется бездоказательность автора статьи, но зато останутся в памяти контуры его концепции да некоторые терминологические новшества. Нет-нет да и промелькнет в одной, затем в другой статье «овечкинское» направление, «симоновское» направление, «закруткинское» направление, «деревенщики»... И убоятся тогда молодые авторы собственной индивидуальности, собственной самобытности и даже собственного жизненного опыта; им во что бы то ни стало нужно будет походить на представителей «сильных» направлений, чтобы ненароком не влететь в направление «несильное», и станут рекрутироваться в легион подражателей не только слабые дарования, но и те, кто мог бы стать в более ясной литературной обстановке надеждой отечественной литературы.

И вот тут мне хочется предупредить: «Осторожно – концепция!»

2

Минувший год был у нас отмечен не только «строительством» собственных концепций, но и явлениями более сложного порядка. Поговорил, скажем, критик А. о том, что по каким-то причинам не устраивает критика Б., смотришь, последний «воздвигает» какую-нибудь фантастическую концепцию и, пользуясь первым же случаем, приписывает ее своему литературному противнику. Затем критик Б. принимает патристическую осанку и начинает громить критика А. и притом не столько как критика, сколько как человека. И тут уже сложилась своя модель. Сначала щедро выдаются «комплименты», порой граничащие с прямыми оскорблениями. Второе условие – наличие в обвинениях «политических полунамеков». В-третьих, критику А. подыскивается «реакционный предшественник», а потом, естественно, следуют соответствующие «выводы».

Подобная статья должна вызвать у читателя невольное предчувствие административного вмешательства в дела литературные. Конечно, потом этого вмешательства может и не быть, скорее всего и не будет, но ощущение, что оно «может быть», должно возникать.

Лучший пример тому – статья Ю. Суровцева «Придуманная «неизбежность»» («Лит. Россия», № 45), в ней есть все перечисленные мною признаки: и «комплименты», и «полунамеки», и «реакционный предшественник», и, разумеется, «выводы».

Итак, начнем с «комплиментов». «Эклектика», «дилетантизм», «историко-литературная память сплошь и рядом подводит В. Чалмаева», «витийствующая односторонность», «путая все и вся», «наш критик-путаник», «знакомство с Леонтьевым не прошло даром для Чалмаева», «чалмаевское патетическое суесловие», «В. Чалмаев упорно гнет свою линию», «чепуха, казалось бы, самоочевидная», «подобное «красивое» суесловие», «с пониманием русской истории дело у В. Чалмаева обстоит, как я пытался это показать, неважно» и т. д.

Не многовато ли – в небольшой газетной статье такое обилие «комплиментов», направленных в адрес одного человека? Вообще-то когда подобные «комплименты» не сопутствуют аргументам, а заменяют их, то, наверное, в самый раз. Пожалуй, этим соображением и руководствовался критик «Литературной России», вступая в «спор» с В. Чалмаевым.

Правда, Ю. Суровцев в критике не новичок: чтобы как-то возбудить у читателя доверие к собственным намерениям, он порой декларирует очень верные, хотя и очень общие, суждения. «Когда тот или иной писатель, критик, публицист касается вопросов, действительно важных для нас, требующих подхода умного, – намекает нам Суровцев, – обоснованного, дальновидного, такого, чтобы потом было как можно меньше нужды переделывать сделанное и перерешать решенное, – он обязан тогда быть особенно ответственным за свое слово, особенно (может быть, больше семи раз) подумать, прежде чем «отрезать».

Сколь велико у Суровцева желание быть проповедником, столь же велико у него желание не быть праведником: когда он бросается спасать от Чалмаева «газетчину», то как-то слишком уж поспешно забывает о своей «проповеди» и «отрезает» с такой поспешностью, которая никак не способствует неторопливости мышления.

«Оказывается, например, что в начале XX века русскую литературу захлестнул «газетно-журнальный бум с его коммерческим или утилитарно-практическим, стяжательским отношением к печатному слову...» – иронизирует Ю. Суровцев, – «словно вышла из берегов какая-то мутная река», продолжает обличение В. Чалмаев; «в торжестве газетчины» (новый термин!) «люди отучились слышать голос народной жизни», а «последние рассказы Чехова, статьи и рассказы Толстого, стихи Блока стали сущими островками незагрязненного, одухотворенного Слова». Какая витийствующая односторонность! **Ведь это говорится о периоде подготовки и проведения русской революции 1905 года**» (выделено Ю. Суровцевым. – А. А.).

Я должен сказать, что здесь автор «Неизбежности» не открыл никаких Америк, так как по этому же поводу «витийствовали» в тот период очень многие и очень настойчиво, а поскольку Ю. Суровцев признает все же бунинский «вклад в художественный опыт русского слова», так давайте послушаем самого Бунина:

«Подумайте же, что значит для нас **газета** в то время, когда мы с такой быстротой европеизируемся, демократизируемся, порожаем буржуазию, пролетариат, выходим на улицу, начинаем жить сложной, пестрой жизнью и все более **входим во вкус газеты**, попадаем под ее влияние! **А** ведь писатель испытывает влияние двойное – **власть и газеты и толпы...**»

«Исчезли драгоценные черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота – морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (**в тесном содружестве писателя и газеты**), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости, называемой «виртуозностью», стих, опошлено все, вплоть до самого солнца, которое неизменно пишется теперь с большой буквы, к которому можно чувствовать теперь уже ненависть, ибо ведь «все можно опошлить высоким стилем», как сказал Достоевский»... (выделено мною. – А. Л.).

Видите, Бунин не опровергает В. Чалмаева, а предмет, о котором он вел речь, ему был, наверное, известен не менее, чем Ю. Суровцеву. Я понимаю: мы имеем право доверять не всем мыслям Бунина, но что касается родного языка, художественного вкуса, чутья к ритму, то здесь, памятуя о признанном критиком «вкладе» великого писателя «в художественный опыт русского языка», мы должны признать его (разумеется, Бунина) авторитет.

Впрочем, о пагубном влиянии «газетчины» говорили в тот период многие, а А. Толстой сделал на этот счет в своем дневнике очень внушительную запись: «Умственная мужская деятельность за деньги, в особенности газетная, есть совершенная проституция. И не сравнение, а тождество».

Но, возможно, и Толстой и Бунин «принизили» роль официальных газет своего времени? Не думаю. Во всяком случае, ленинская оценка буржуазной «газетчины» может нас только укрепить в правоте Толстого и Бунина.

«Воры, – писал В.И. Ленин, – публичные мужчины, продажные писатели, продажные газеты. Это – наша «большая пресса».

Не знаю, кого подвела «историко-литературная память», но вряд ли Ю. Суровцев сумеет доказать, что оценка «газетно-журнального бума» В. Чалмаевым неверна или расходится с ленинской оценкой «большой прессы» того периода. И дело тут скорее всего вовсе не в памяти. Просто Суровцев во что бы то ни стало хотел обвинить критика В. Чалмаева в игнорировании им революции 1905 года – недаром же он подчеркнул слова о ней. Вот это и есть те «полунамеки», о которых мы вели речь в начале главы.

Но всего этого Суровцеву показалось мало, и он продолжает: «Вдумайтесь только: измельчали «культурные ценности» в нашей стране **в те годы, когда складывалась первая революционная ситуация**» (выделено Суровцевым. – А. Л.).

В представлении Суровцева революция – это нечто вроде всенародного карнавала, общегосударственного праздника по случаю великих достижений в области материальной и духовной жизни, демонстрация гармонии общества. Но он как-то забывает, что революционные ситуации как раз и создаются в те периоды, когда в обществе неблагополучно, когда государственный организм переживает всесторонний кризис.

Бунин, вспоминая один из разговоров с Чеховым, писал: «Часто говорил он в суровом и грустном раздумье:

- Вот умрет Толстой, все к черту пойдет!
- Литература?
- И литература.

И сам он умер не вовремя. Будь жив он, может быть, все-таки не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения, до изломавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричащих на весь кабак о собственной гениальности...» Это относительно измельчания «культурных ценностей». А что касается революционной ситуации в стране, то тут я сошлюсь на Ленина.

«Основной закон революции, – писал Владимир Ильич, – подтвержденный всеми революциями и в частности всеми тремя русскими революциями в XX веке, состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса».

И, по-моему, нет ничего удивительного, что в период революционной ситуации 1905 года, когда налицо были все признаки «общенационального кризиса», измельчали «культурные ценности» и отчетливо наблюдался тот «газетно-журнальный бум с его коммерческим или утилитарно-практическим, стяжательским отношением к печатному слову», о котором говорилось в «Неизбежности».

Итак, Чалмаев, по Суровцеву, игнорирует первую русскую революцию, но Суровцеву этого недостаточно, и он под свои обвинения начинает подводить «теорию». Вынося очередное обвинение автору «Неизбежности», Суровцев с шумным пафосом восклицает: «Ведь сделал же он (В. Чалмаев. – А. Л.) из Бунина певца единой России!..» Но вот, как мы сейчас увидим, из Бунина, а заодно и из Чалмаева «певцов **единой** России» сотворил не кто иной, как сам Суровцев.

А делается это очень просто. Сначала критик приводит цитату из бунинского рассказа, привлечшего внимание Чалмаева, а затем делает нужный себе вывод. Вот эта цитата: «Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть...»

Вы полагаете, что вот это многоточие – простой знак препинания? Вы ошибаетесь. Это апробированный прием, позволяющий лихо передернуть своего оппонента, и, надо отдать должное Суровцеву, пользуется он им уверенно.

Но вернемся к цитате из Бунина. Разумеется, если бы эти чувства (о единой России) пришли к герою во время пирушки с купцами, демонстрирующими ширь своей души, тогда, пожалуй, ирония в адрес Чалмаева (да и Бунина тоже) была бы уместной. Но оказывается, эти «крамольные» чувства были вызваны совсем иными обстоятельствами. Тут нам придется обратиться к тексту статьи Чалмаева, а у того это звучит так: «Вспоминается невольно чудесный рассказ «Косцы» И. Бунина, в котором герой, глядя на косцов, слушая их песню «И родимая, ах, прощай, сторонушка», думает: «Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть...» Тут вот Суровцев и ставит свое коварное многоточие. А вот что он отсекает: «И еще в том была (уже совсем неосознанная нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была – Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу».

Как видим, чувство единой России было навеяно не подзагулявшими купцами, а трудовыми людьми, косцами, их народной песней. В том-то все и дело, что народное творчество (в данном случае и песня и ее исполнение) всегда объединяет людей в каком-то хорошем, добром чувстве, но Ю. Суровцев делает вид, что он ничего этого не понимает и якобы только экономии места ради делает столь «произвольные» усечения текста статьи своего оппонента.

Итак, в намерения критика «Литературной России» входило: первое – показать, что В. Чалмаев игнорирует революционное движение; второе – подвести под все это «теоретическую» базу, и он делает из Чалмаева «певца **единой** России». Но на этом Суровцев успокоиться не может – теперь для него важно установить связь между «идеями» В. Чалмаева и реакционными идеями прошлого, для чего и подыскивается «реакционный предшественник», и в данном случае им становится Константин Леонтьев.

Ю. Суровцев призывает В. Чалмаева к «строго научной классовой, социальной методологии исследования общественных явлений, исторических лиц и событий». Вот тут бы критику и поговорить об изъянах методологии автора «Неизбежности» вместо того, чтобы, выстроив вот такой титул К. Леонтьеву – «последовательный, ярый консерватор, убежденнейший монархист, шовинист-великодержавник, христианско-православный ортодокс и философ», – как-то привязывать к нему Чалмаева. И тут я не убежден, что сам Суровцев желал бы придерживаться той методологии, о которой он напоминает Чалмаеву.

Так во имя чего же писалась Суровцевым статья? Во имя своих «выводов». Если А. Бочаров разводил писателей по «направлениям» («сильным» и «несильным»), в общем-то не выходя за рамки их художественной значимости, то Суровцев куда как более крут: его интересуют не судьбы отдельных авторов или определенных групп писателей, а журналов целиком, причем он преисполнен решимости активно вмешиваться в их судьбы.

«Я не шучу (это мы понимаем. – А. Л.) и не преувеличиваю, – предупреждает нас Суровцев, – современный советский критик в 1968 году в комсомольском журнале с пылом и жаром стремится доказать великое государственное и даже **народное** значение раскола и никонианства». Если убрать отсюда излишний пафос, идущий от субъективного восприятия Суровцевым статьи Чалмаева, то никакого криминала не остается. Действительно, неужели ком-

сомольский журнал только потому, что он комсомольский, должен отечественную историю преподносить на манер студенческого капустника?

Заканчивает свою статью Ю. Суровцев такими вопросами: «Остается задать еще один (на самом деле два. – А. Л.) вопрос: насколько неизбежным было появление статьи, проповедующей **асоциальные** взгляды на русскую историю и на некоторые современные заботы нашей жизни, в журнале «Молодая гвардия»? Или впрямь работники журнала убеждены в том, что Никон и раскольники, всеночный колокольный звон и бессловесная лошадушка Саврасушка, изничтожение «газетчины», а вкупе с ней и «бухгалтерии» помогут подлинно патристическому, коммунистическому воспитанию молодежи?»

Здесь Суровцев не только задает вопросы, но и утверждает, что Чалмаев со страниц «Молодой гвардии» проповедует асоциальные взгляды, с чем согласиться никак невозможно хотя бы потому, что сам Суровцев в начале своей статьи намерения Чалмаева признает похвальными. «Автор справедливо говорит о вредности моды на абстрактно-всеобщий «модерн» (одно это уже может снять обвинение в «проповеди асоциального». – А. Л.), справедливо предупреждает о вредности настроений эгоистического славолубия, имеющих и в нашей, литературной, среде. Наконец, есть у В. Чалмаева и верная, особенно важная сегодня, мысль о необходимости быть бескомпромиссными в идеологической борьбе», все это пишет Суровцев.

Если мы признаем статью Чалмаева неубедительной, если мы откажем автору в глубине социального анализа, но признаем похвальными его намерения, то возражения наши в таком случае должны вызывать *метод* критика, но никак не *цель*.

Спрашивается, оправданно ли цитирует критик в своей статье К. Леонтьева? По-моему, так, как он это делает, нет. И дело тут не только в фигуре самого К. Леонтьева, а в том, что имя его ничего не говорит молодежному читателю, который, прочитав чалмаевскую «Неизбежность», наверняка составит о нем ошибочное мнение. Тут необходимо было внятно сказать о религиозно-философской позиции К. Леонтьева и никак уж не зачислять его в друзья Льва Толстого, потому как последнее противоречит исторической истине. Правда, некоторые пытаются утверждать, что В. Чалмаев просто спутал Константина Николаевича Леонтьева с Борисом Николаевичем Леонтьевым... А с кем тогда спутал Чалмаев Чаадаева, сказав, что К. Леонтьев – это «Чаадаев 60—80-х годов»?

Никто тут ни с кем не спутан: все дело в методе критика; и вот, чтобы раскрыть принципы этого метода, я должен обратиться к некоторым, на мой взгляд, очень характерным «мелочам».

Я, например, совершенно согласен с Суровцевым, что эпиграф к статье выбран неудачно. Не кажутся мне удачными у Чалмаева и «лобные места», когда он пишет: «Не много было лобных мест, откуда возвещала о себе в течение веков стыдливая русская душа...», хотя тут не более прав и Суровцев, дающий под восклицательный знак такую фразу: «Да едва ли не вся передовая русская литература до Октября 1917 года была той трибуной, – восклицает он, – которая сплошь и рядом усилиями народных угнетателей превращалась в лобное место!»

Я не стану пространно толковать значение понятия «лобное место», а приведу для краткости толкование В. Даля: «Лобное место, возвышенность, холм, курган, сопка; место казни, видное со всех сторон; в этом знач. переведено в евангел. *calvarium*, «темя». Лобное место, в Москве, каменная подвысь против Спасских ворот; никогда не была местом казни, а царским и патриаршим, при беседе с народом, при народных торжествах и молебствиях; с него же читались указы, приговоры; казни происходили близ, на площади Китай-города».

Я вполне доверяю авторитету В. Даля и могу только сказать, что сравнением или образом никогда не может быть слово, обозначающее неодинаковые по содержанию понятия. В то же время нельзя одним значением опровергать другое, когда они оба истинные, так что каждый из критиков по-своему не прав.

Мне кажется, В. Чалмаев ошибочно зачисляет героя пьесы А. Арбузова «Годы странствий» Александра Ведерникова в разряд «стопроцентных мужчин» на основании одной такой реплики: «Оставим скромность неудачникам, она их здорово украшает...». Даже в первом действии, когда Ведерников в разговоре с Кузей (причем в шутку) произносит эти слова, он для «стопроцентного мужчины» слишком часто «мечется» и сомневается.

«Лобное место» – только трибуна... Ведерников – «стопроцентный мужчина»... К. Леонтьев – друг Л. Толстого... Дело в том, что главным изъяном метода Чалмаева как критика является порой слишком однозначное, буквальное прочтение текстов. Так, у Л. Толстого есть в дневнике такая запись: «Был у Леонтьева. Прекрасно беседовали. Он сказал: вы безнадежны. Я сказал ему: а вы надежны. Это выражает вполне наше отношение к вере. Потом поехали. Весело ехали до Мишнева, сорок верст от Оптиной. Ночевали в избе».

Я не настаиваю, что именно эта, но тогда подобная запись могла ввести Чалмаева в заблуждение. Если взять в расчет только «прекрасно беседовали», «весело ехали», «ночевали в избе», то действительно может возникнуть иллюзия дружбы между этими людьми. Но дружба между крупными личностями своего времени определяется не совместными ночевками и «прекрасными беседами», а чем-то более значимым. Л. Толстой и К. Леонтьев не могли быть друзьями, так как для первого в религии главным была – «любовь», а для второго – «страх». Недаром же, по свидетельству К. Леонтьева, во время этих бесед он сказал Л. Толстому: «Жаль, Лев Николаевич, что у меня мало фанатизма. А надо бы написать в Петербург, где у меня есть связи, чтобы вас сослали... А то вы положительно вредны». На это Лев Николаевич с жаром воскликнул: «Голубчик, Константин Николаевич! Напишите, ради бога, чтобы меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы компрометировать себя в глазах правительства, и все сходит мне с рук. Прошу вас, напишите».

Если убрать из этого короткого диалога шутливость тона, то главная мысль будет та же, что и в записи Толстого: отношение к главному для обоих вопросу никак не может их поставить в положение единомышленников, а стало быть, и друзей.

Не больше оснований у Чалмаева утверждать и то, что Леонтьев – это Чаадаев 60–80-х годов. Мне вообще кажется, подобная модель никогда ничего не проясняла и в серьезных статьях лучше ее избегать. Любая крупная индивидуальность всегда неповторима, а потому всегда требует индивидуальной характеристики. Здесь противопоставлена всякая приблизительность, а она, как мы выяснили, к сожалению, пока свойственна методологии автора «Неизбежности».

Если же говорить о глубине социального анализа, то и здесь дает себя знать несовершенство методологии Чалмаева. Что касается той части статьи, в которой ведется критика эпохи капитализма в России и современного империализма, то тут у Чалмаева ощущается достаточно четкое понимание социального вопроса – возьмем ли мы период созревания революционной ситуации в России в начале века или современные противоречия между капитализмом и социализмом. Здесь внесоциальность его оценок можно доказать только при помощи заведомых передержек.

Но вот что касается времен более отдаленных, например, времен раскола и никонианства, тут действительно социальная почва уходит из-под ног В. Чалмаева и проявляется однозначное прочтение отечественной истории докапиталистического периода. Не имея перед собой четких социальных ориентиров, критик не находит самостоятельного пути к ним, что невольно ведет порой к субъективизму в оценках и суждениях, требующих всестороннего исследования, в том числе и социальной отчетливости. Это издержки метода, но никак не признак дурных намерений В. Чалмаева. Говорить же, что он проповедует «асоциальные взгляды на русскую историю и на некоторые современные заботы нашей жизни» – значит приписывать ему «концепцию», к которой он никогда не имел никакого отношения.

И как тут снова не повторить: «Осторожно – концепция!»

3

Из боязни быть неправильно истолкованным хочу сделать необходимую оговорку: нет, я вовсе не против концептуального мышления и концепций вообще, если только они являются результатом глубокого анализа литературного процесса, соотнесенного с действительностью, в котором верность исторической правде сочетается с требованиями подлинной художественности и высокой этики». Но я против тех «концепций», что служат «рычагами», с помощью коих иные критики намереваются, игнорируя законы духовного развития народа, волюнтаристски навязать литературе несвойственные ей пути развития, вытравить из нее ее специфическое содержание. И надо сказать, чаще всего подобные «концепции» появляются на свет с единственной целью – нанести глобальный удар по своим литературным противникам. Подобные «концепции» носят на себе непереносимые следы той «прикрытой полемики», о которой очень емко сказал Ленин, что это «вид полемики, имеющий все недостатки ее и ни одного из ее больших достоинств».

И в этой связи никак не может быть обойдена молчанием статья Д. Старикова «Заметки для памяти» («Октябрь», № 11), формально полемизирующая со статьей И. Золотусского «Добавление к эпосу» («Нов. мир», № 6). Почему я утверждаю, что спор этот носит формальный характер? А вот почему. Статья И. Золотусского написана в связи с выходом на экраны кинофильма «Война и мир»; естественно, что критик не ограничился разговором о фильме и обратился к роману Толстого, хотя рассуждения его о романе и оценки фильма весьма спорны, но в общем-то это единый разговор. И вот Д. Стариков так ухитрился построить свою «полемику» с И. Золотусским, что не только не высказал своего отношения к фильму, но даже ни разу его не упомянул, будто его и не существует в природе.

Что же тогда ввергло Д. Старикова в спор с И. Золотусским? Всего лишь одна мысль, а точнее, одна фантазия последнего, иначе эту мысль я и назвать не могу. И. Золотусский мечтает о «свободном» прочтении романа Толстого. «Ибо наши чувства, – пишет он, – не свободны от знания о Толстом. От знания того, что о нем написано. Вернуться к Толстому, прочесть его свободно и заново – для этого нужно освободиться от гипноза».

И. Золотусский верит в то, что можно освободиться от «гипноза» знаний. Допустим, мы это проделали – освободились от «гипноза». А что это даст? Ровным счетом ничего. Дело в том, что за сто лет Толстой вошел в нас, в наш духовный мир, в нашу национальную культуру, в наше сознание, и дело тут вовсе не в том, что написано о Толстом, а в нем самом, в том воздействии, которое оказывали его произведения не только на нас непосредственно, но и на наших предшественников. Больше того, если даже взять человека, который не читал Толстого, то и такой человек хотя бы в какой-то мере опосредованно испытал влияние Толстого. Великие писатели существуют не только для того, чтобы о них писали, а главным образом для того, чтобы отражать духовную жизнь народа и одновременно воздействовать на нее, формировать ее.

«Свободно и заново» мы никогда Толстого не прочитаем, освободиться от «гипноза» – это значит освободиться от собственного духовного содержания, тогда нас просто потянет «на четвереньки», а не к Толстому.

Спорить с «фантазией» И. Золотусского, по-моему, абсолютно бесполезно, правда, Д. Стариков все-таки и тут сумел извлечь для себя определенную пользу, но это уже особое его дарование, если по своей природе и не единичное, то наверняка – редкостное. Автор «Заметок для памяти» сумел так виртуозно оттолкнуться от И. Золотусского, что создал иллюзию постоянного спора с ним, хотя, по сути дела, никакого спора и нет. Больше того, И. Золотусский и Д. Стариков, как и всякие крайности, сходятся в главном: критик «Нового мира» считает роман Толстого «реликвией», «музейным экспонатом», а критик «Октября» никак и не

пытается опровергнуть эту точку зрения. И. Золотусский и Д. Стариков считают, что «настоящего» Толстого нет, так как между нами и Толстым стоят «знания» о нем, только один по этому поводу высказывает сожаления, другой – чувства противоположные. Я же не могу согласиться ни с тем и ни с другим, для меня существуют как и «настоящий» Толстой, так и «знания» о нем, позволяющие формировать исторический подход к прошлому и настоящему. И, по-моему, без сопряжения вот этих «знаний» духа и разума не может быть истинного интеллекта.

Я готов подписаться под утверждением Д. Старикова, что «надо было быть Лениным, чтобы и через два и через шесть десятилетий после опубликования первой своей статьи о Толстом принять такое непосредственное и *ведущее* участие в наших делах и в наших дискуссиях...» Только я бы сказал это проще и точнее: «Ленинская статья о Толстом играла ведущее значение во всех дискуссиях на протяжении всех лет с момента ее появления в печати». К этому уточнению я еще вернусь, а пока остановлюсь на том, как преломляются «знания» о Толстом и, в частности, ленинские работы о нем в статье Д. Старикова.

Как известно, первая ленинская работа о Толстом была построена по принципу: «с одной стороны...» – «с другой стороны...» И это вовсе не литературный прием, это диалектический анализ Толстого как явления русской действительности, отразившего с наибольшей силой слабые и сильные стороны первой русской революции. Должен сказать, что статья Ленина вроде бы устраивает автора «Заметок для памяти», но... только тем, что «с другой стороны...» Д. Стариков почему-то решает, что в ленинской статье важна только эта «другая сторона», касающаяся критики религиозно-философского учения Толстого, но такой взгляд не только разрушает принцип, но и все содержание ленинской статьи о Толстом. Стариков выписывает даже в один большой абзац сплошняком все, что «с другой стороны», и восклицает: «Да, для этого нужен был *Ленин!*». По-моему же, для этого нужен был просто Стариков.

Из того же, что, «с одной стороны», Стариков выписывает только одну ленинскую фразу и топит ее в собственных пространных рассуждениях. И вот эта важнейшая ленинская статья о Толстом подвергается своеобразному препарированию, а чтобы окончательно нарушить «равновесие» ленинских оценок, критик «Октября» своеобразно подбирает различный материал, бросающий какую-либо тень на великого писателя.

С ненужной оживленностью обильно цитируется Маяковский. Что-нибудь вроде: «на стене росла у Маркса под Толстого борода...» (При всем нашем уважении к Маяковскому навряд ли нужно безоговорочно принимать все оценки поэта, касающиеся как Толстого, так и других представителей литературы прошлого.) Поднимается также без всяких оговорок нацит статья М. Ольминского «Ленин или Лев Толстой?». Опять-таки без оговорок Д. Стариков сообщает: «В тюрьме, во второй половине девяностых годов, чтение «Войны и мира», «Анны Карениной», вспоминал М.С. Ольминский, вызывало у него впечатление контрреволюционности Толстого...»

А Ленин, как нам известно, воспринимал эти романы совсем иначе. Вот тут бы нашему критику и поговорить о значении ленинских работ о Толстом. Ведь не нужно представлять себе дело так, будто статьи Ленина читались «черносотенцами», «громившими» Толстого, и в основном к ним-то и адресовались. В первую очередь Ленин адресовал свои статьи товарищам по партии и по рабочему движению, которые не понимали истинного значения Толстого, к ним можно отнести и М. Ольминского. Да что там Ольминский – Плеханов по-настоящему не понял Толстого! Все на великого писателя смотрели только «с другой стороны», но если такой взгляд был извинителен до появления ленинской статьи «Лев Толстой, как зеркало русской революции», то через шестьдесят лет отношение к такому взгляду у нас должно быть иным. Но Д. Стариков, нисколько о том не заботясь, продолжает односторонне раздувать, что «с другой стороны», и не без явного удовольствия приводит следующий отрывок из давнего фельетона М. Кольцова:

«...Рассказывают, то ли в шутку, то ли всерьез, – писал в дни толстовского юбилея 1928 года Михаил Кольцов в «Правде», – как группа детей-экскурсантов бродила по какой-то портретной галерее. Один из малышей, остановившись у портрета Льва Толстого, спросил групповода строго и спокойно:

– А это что за старый хрен в толстовке?

Здесь нечего возмущаться, ломать руки и взывать к небесам об упадке нравов по поводу того, что толстовку знают, а Толстого – нет, – замечал фельетонист... – В этой гигантской политической и культурной перетасовке, конечно, мог на несколько лет согнуть даже такой великан, как Толстой...»

Наговорено здесь немало, так что теперь давайте попробуем во всем этом разобраться. Конечно, ломать руки не стоит (даже себе), а вот возмущаться мы имеем все основания. Дело не в том, что «малыш» не знал Толстого – в конце концов во все времена, даже когда не было «культурных перетасовок», многие малыши до поры не знали Толстого. Обычно в описанных Кольцовым ситуациях они любопытствуют: «А кто это?», что вполне естественно. Но вот когда для малыша всякий незнакомый ему человек – «хрен» (неважно, в толстовке или без оной) – это уже страшно, и страшны его спокойствие и строгость. И можно себе представить, что из этого «малыша» могло получиться потом при оптимистических призывах «не возмущаться» и «не ломать руки»!

Да и ничего себе «перетасовочка», если на несколько лет мог согнуть «такой великан»! Интересно, а почему Д. Старикову даже через много лет не пришла мысль, что по логике вещей вместе с «великаном» должны были согнуть и работы о нем? А могли заодно и не только о нем. В частности, о Пролеткульте. И совсем уж странно звучит утверждение, что фельетон этот «был одним из выражений основной направленности подлинно социалистической культурной революции, определенной Лениным, в частности, еще в его работах о Толстом».

Насколько нам известно, Ленин совсем иначе себе представлял принципы культурной революции, когда еще второго августа 1918 года утвердил «Список лиц, коим предположено поставить монументы в г. Москве и др. городах Рос. Соц. Фед. Сов. республики...». И между прочим, в разделе «Писатели и поэты» первым значилась фамилия Толстого. А менее чем через два года Ленин подписал декрет, по которому – «В целях сохранения дома, где жил и работал Л.Н. Толстой», – дом Толстого был объявлен государственной собственностью. Эти акты действительно были выражением «основной направленности подлинно социалистической культурной революции, определенной Лениным, в частности, еще в его работах о Толстом». Именно Ленин, кажется, делал все, чтобы в результате различных «перетасовок» не согнул великий писатель земли русской. И тут Старикова явно подвела тенденция «с другой и только с другой стороны».

Между прочим, во времена «культурной перетасовки» «великаны» согнули далеко не для всех. Так, человек вроде бы и не очень мирной профессии, каким был Михаил Васильевич Фрунзе, говорил: «Когда есть время почитать, то невольно обращаешься либо к старым классикам, либо как раз к нашим литературным попутчикам, вроде Леонова. Между прочим, моему, Леонов – очень крупный растущий писатель. Ему тоже еще нужно учиться, но если мы его не испортим, то в будущем это будет крупная литературная величина».

Как видим, для Фрунзе «великаны» не исчезали, и в Леонове он не ошибся. Леонов действительно стал «крупной литературной величиной», а вот это – «если мы его не испортим» – куда как лучше характеризует тогдашнее состояние литературных дел, столь зависящих от всевозможных «культурных перетасовок». Порой Д. Стариков начинает будто бы защищать Толстого. «Но нет, – категорически заявляет он, – уже невозможно после Ленина выдать Толстого за некоего «старого хрена в толстовке»: все равно, скажутся ли в этом детском восприятии холод наивного пренебрежения или жар умильного подобострастия».

В том-то все и дело, что и «сгинул» Толстой и пожалован новым «титлом» был именно «после Ленина» и после его статей, но тут критику просто нужно было создать видимость защиты Толстого.

В статье Д. Старикова в потоке рассуждений разбросано немало замечаний о величии Толстого, но все эти замечания никак не восстанавливают диалектический ленинский анализ, но зато другие его «замечания» с неукротимой энергией разрушают этот анализ.

Ключом к пониманию ленинской работы о Толстом могут послужить воспоминания Горького о Ленине и, в частности, вот такие фразы Ленина, приводимые Горьким: «И, – знаете, что еще изумительно в нем. Его мужицкий голос, мужицкая мысль, настоящий мужик в нем. До этого графа – подлинного мужика в литературе не было. Не было!» Но Д. Стариков ничего не желает понимать, а чтобы не поняли другие, пускается вдруг в неуместную здесь иронию. И начинает издали. Сначала он высмеивает сентенции, предназначенные для клубных работников и учителей, вроде: «Любите книгу, источник знания. *М. Горький*»; «Наука изощряет ум; ученье воистину память. *К. Прутков*» и или: «Лев Толстой навсегда останется в русской и мировой литературе величавой, недостижимой вершиной. *М. Шолохов*»; «Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине. *К. Прутков*»...

Прием, конечно, остроумный – уравнивать шолоховскую оценку Толстого с легковесным афоризмом Прутова, но дальше Стариков ударится и не в такое «остроумие». А пока он совершенно не к месту упрекнет И. Золотусского, порассуждает о древнегреческих философах, вспомнит ленинскую работу «Философские тетради», расскажет нам кое-что о догматизме, поиронизирует над «серьезными по репутации литературоведами», напомним о «темном царстве» и крепостничестве, позабавит нас вопросом-ловушкой. Стариков весело рассказывает, как многих ставит в тупик вопросом: если, по словам Ленина, у Толстого подлинные мужики, то разве не подлинные мужики у Пушкина, Тургенева и тем более Решетникова?

Еще Д. Стариков начинает нас уверять, будто кто-то зловеще-таинственный «во многих библиотечных книгах» отчеркнул «преимущественно цитаты», в которых выражена ленинская мысль о графе-мужике. Как говорится, к чему бы это? А вот к чему: порассуждав еще немного о творческом методе Толстого, Д. Стариков выдает вот такую тираду: «Смешно объяснять, что, ей-богу, не надо быть *Горьким*, чтобы увидеть в книге один из источников знания; не надо быть *Шолоховым*, чтобы назвать Толстого недостижимой вершиной литературы; не надо быть и *Лениным*, чтобы согласиться (с кем согласиться? – *А. Л.*), что Толстой велик, что в Европе некого поставить рядом с ним и что он превосходно знал деревенскую Россию!».

На предыдущей странице эти же высказывания Горького и Шолохова стояли в одном ряду с афоризмами Прутова, теперь критик «Октября» вместо афоризмов Прутова подставил в исковерканном виде мысль Ленина, намекая, что всем этим сентенциям одна цена и предназначены-то они для клубных работников и учителей.

Теперь о Решетникове. Действительно, Решетников «превосходно знал деревенскую Россию», а Ленину его гениальный анализ гениальных произведений Толстого позволил не только узнать, но, главное, понять деревню лучше, чем понимал ее тот же Решетников, а вкупе с ним и многие современные литературные критики, порой так лихо решающие проблемы деревенской жизни. Если бы Толстой только «превосходно знал деревенскую жизнь», тогда бы Ленин и не высказал бы мысль о графе-мужике, и эта мысль вовсе не проходная, а главная в ленинской работе о Толстом.

«Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, – действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции» – вот расшиф-

ровка ленинской мысли о графе-мужике, вот это самое «с одной стороны...»! И вряд ли Д. Старикову следовало ставить эту мысль в один ряд с афоризмами Пруткова.

Ленинская статья о Толстом – это не просто статья о великом писателе, это статья, в которой дан анализ причин поражения первой русской революции. И тут я возвращаюсь к своему уточнению, в котором сказал, что ленинская работа о Толстом играла ведущее значение во всех дискуссиях на протяжении всех лет с момента появления ее в печати, ибо разногласия о Толстом – это и разногласия о политике партии в революции.

В своей работе «О праве наций на самоопределение» Ленин писал: «Сколько бы ни клеветали на нас, большевиков, будто мы «идеализируем» мужика, но мы всегда строго отличали и будем отличать мужицкий рассудок от мужицкого предрассудка»... Разве трудно в этих словах обнаружить мысли, высказанные Лениным в статье о Толстом?

Разоблачая троцкизм, Ленин в работе «О двух линиях революции» отмечал: «Оригинальная теория Троцкого берет у большевиков призыв к решительной революционной борьбе пролетариата и к завоеванию им политической власти, а у меньшевиков – «отрицание» роли крестьянства». Разве нет здесь развития тех мыслей, которые были высказаны Лениным в той же статье о Толстом?

Нетрудно догадаться, что и Троцкий и меньшевики, у которых он брал «отрицание» роли крестьянства», вряд ли глубоко понимали ленинский диалектический анализ, проведенный им в статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции». И давно уже настало время понять, что нет и не было дилеммы: Ленин или Лев Толстой? есть проблема: Ленин и Лев Толстой.

Я не стану здесь подробно излагать историю всех разногласий между Лениным и его противниками по крестьянскому вопросу во время подготовки России к новой революции – это особая тема разговора, но не могу обойти молчанием факт, кажущийся мне очень знаменательным. Известно, что с первых же дней Советской власти Ленин установил постоянную связь с крестьянством, и это вовсе не случайно. Правда, у нас порой очень сусально рисуют встречи Ленина с «ходаками», пытаюсь представить вождя революции таким сентиментальным интеллигентом, который не в состоянии отказать в приеме простому человеку, тем более пришедшему из далеких краев.

Для принятия того или иного важного государственного решения Ленину важно было знать истинное настроение крестьянства, ибо он никогда не забывал о роли крестьянства в революционном движении в такой стране, как Россия.

Кажется, какое отношение имело крестьянство к Брестскому миру? На самом деле имело, и даже очень большое. «Левые» во время брестских переговоров обвиняли Ленина в «преклонении перед крестьянством», а Радек – тот прямо заявил: «Мы стоим теперь перед капитуляцией, – и это главным образом *потому, что пролетарская партия, став у власти, считалась прежде всего не с постоянными интересами рабочего класса и революции, а с настроением и давлением усталых крестьянских масс*» (выделено Радеком).

А Урицкий в тот же период на заседании ЦК 24 января 1918 года доказывал, что «ошибка т. Ленина в настоящий момент та же, что была и в 1915 г., – а именно он смотрит на дело с точки зрения России, а не с точки зрения международной».

Если не понимать ленинскую работу о Толстом, то и впрямь может показаться, что Ленин не считался с интересами рабочего класса, что он игнорировал международную точку зрения. Но Ленин видел дальше всех и хорошо понимал, что судьба русской революции зависит полностью от настроения крестьянства, а не от эмоций противников «аннексионистского мира» и сторонников «революционной войны», и поэтому мужественно отвечал многочисленным своим оппонентам, что «крестьянское большинство нашей армии в данный момент безусловно высказалось бы за аннексионистский мир...», что «крестьянская армия, невыносимо истрепанная войной, после первых же поражений, вероятно, даже не через месяц, а через неделю свергнет социалистическое рабочее правительство».

И в той позиции, которую твердо занял Ленин во время брестских переговоров, очень легко угадывается автор статьи «Лев Толстой, как зеркало русской революции». И мне думается, не случайно, что именно в этом же 1918 году Лев Толстой оказался в списке писателей первым, чья память должна была быть увековечена.

Конечно, вряд ли критику можно поставить в особую заслугу непонимание ленинской статьи о Толстом, но еще хуже, когда на этом непонимании строится концепция, а Д. Стариков из всех своих рассуждений ни мало ни много выводит наличие у нас «новой «общенациональной оппозиции» все того же старого либерального толка...». Не берусь судить, кого намеревается Дмитрий Стариков зачислять в ряды этой оппозиции, но один И. Золотусский ведь не в состоянии составить целую оппозицию, да еще вдобавок общенациональную. Да, ничего не скажешь, Д. Стариков любит размах и монументальность – это вам не «участки» А. Бочарова!

Заканчивая разговор, мне все-таки хотелось бы спросить у Д. Старикова: «А что же это такое – «общенациональная оппозиция» и не абсурд ли это?» Ведь «общенациональная оппозиция» может возникать лишь в период «общенационального кризиса» и только при наличии антагонистических классов. Возможно, Д. Стариков считает, что и коммунизм-то мы должны строить не «с точки зрения России», а «с точки зрения международной», а потому всякие общенациональные интересы нужно рассматривать как «общенациональную оппозицию» «международной точке зрения»? Не берусь все это утверждать, но при всем моем уважении к Д. Старикову я предпочел бы, кажется, любой «участок» А. Бочарова столь таинственному «зданию», воздвигнутому Стариковым в тумане загадочных рассуждений о вещах сложных, но достаточно ясных.

И я еще раз произнесу: «Осторожно – концепция!»

1969

Мода и современность

Литературные моды быстро истощают себя и редко отличаются глубоким характером. На какой-то миг они поражают взор и тут же исчезают, как стремительно несущаяся пена. Попусту растрачивая все силы, подобная литература сама мешает своему внутреннему развитию; подобно осенним листьям, она за короткий срок претерпевает множество внешних изменений.

Рабиндранат Тагор

1

Мода – деспот, одновременно капризный и жестокий, не внемлющий ни доводам разума, ни голосу естественного чувства, он требует бездумного и беспрекословного подчинения, ему мало преданности толпы, он домогается верноподданности индивидуума. Добро еще, когда мода захватывает только область, так сказать, нашего обличья, когда костюм, прическа, «форма глаз» или внешняя манера поведения нивелирует внешность человека, когда все похоже на *кого-то* и никто на себя.

В конце концов у человека могут развиваться и собственный вкус, и стремление к самостоятельности, и тогда он сумеет освободиться от рабской зависимости, обретет собственное лицо и те черты индивидуальности, которые сделают его похожим на самого себя. Во всяком случае, этого рода мода, если только человек не посвятил ей всего себя полностью, – симптом лишь возможной, но вовсе еще не обязательной болезни.

Во сто крат хуже, когда мода захватывает область, которую принято называть внутренним миром человека. Мода опустошает этот мир, лишает человека способности самостоятельно мыслить, убивает в нем всякое творческое начало, а стало быть, и творческое отношение к действительности. За неупотреблением все эти качества постепенно атрофируются, и их место заступает единственная способность реагировать только на грубое раздражение низших чувств.

Мода отрицает какие бы то ни было обязательства перед прошлым и будущим: ее стихия – настоящее, точнее, даже не настоящее, а сиюминутное. Она легко может развести друзей и разлучить любящих, отлучить от родителей и восстановить против учителей. И если уж вы взялись служить моде, то должны неукоснительно исполнять все ее желания и веления и пуще огня страшиться проблеска собственного мнения и малейших движений собственной воли, иначе вас тотчас же обвинят в ереси. Взамен всему мода внедряет в сознание человека различного рода стереотипы, приказывая: вот по *этому* поводу думать *так*, а по *этому* – *вот так*; в *таком-то* случае говорить *то*, а в *таком-то* – *вот это*.

У моды свои законы этики и эстетики, а в понятие хорошее или плохое она не вкладывает никакого иного содержания, кроме как: *новое* и *старое*. *Новое* – хорошо уже только потому, что оно не старое, *старое* – плохо уже потому, что оно не новое. Так, в последнее десятилетие западное искусство захлестнула под напором «сексуальной революции» мода на порнографию, и теперь в нем, как никогда, стало чрезвычайно легко отделить «старое» от «нового». Разумеется, и прежде в произведениях разных видов искусств нередко присутствовал элемент порнографии, как правило, приносимый настойчивыми ремесленниками. Нынче же, когда порнография получила все права в искусстве буржуазного мира, ремесленник победил творца и в силу своей природной агрессивности диктует ему свою волю и свои вкусы. Теперь не только ремесленник подделывается под творца, но и творец подчас вынужден свои произведения под-

дельвать под продукцию ремесленника. И в мире, где самодержавно господствует мода, по сути дела, нет места ни для подлинного новаторства, ни для подлинного творчества.

Модный фильм, модная книга... Это не одно и то же, что современный фильм или современная книга. Современное произведение *отвечает* вкусам, чувствам и умонастроениям многих людей, и по своей природе современность демократична. Мода же *подчиняет* единому стереотипу вкусы, чувства, умонастроения людей, и по своей природе мода элитарна.

2

В последние годы было немало говорено об опасности, которую таит в себе современная система массовой коммуникации. Сошлюсь хотя бы на авторитет известного нашего ученого, академика Н.И. Конрада: «Что, собственно, делают с нами все эти средства массовой коммуникации? Штампуют нас – наши интересы, наши вкусы, наш ум, наши души. Относимся мы ко многим вещам, конечно, по-разному, но сами категории этих разных отношений одни и те же; да и само отношение нередко привнесено в нас этой же массовой коммуникацией».

Безусловно, виноваты здесь не средства современной системы массовой коммуникации и не научно-технический прогресс в целом. Сами по себе научные открытия и технические достижения нейтральны – важно, чему и кому они служат. И как ими пользуются. Необходимо только помнить, что современные средства массовой коммуникации более мобильны и более всеохватны, чем прежние, и теперь все труднее и труднее «укрыться» от них человеку.

«Вы знаете, – писал тот же академик Н. Конрад, – что уже не раз на различных международных форумах говорилось об опасности, таящейся в современной системе массовой коммуникации. Все мы в той или иной степени охвачены этой коммуникацией, находимся в ее власти. Например, меня может совсем не интересовать, как некая звезда фигурного катанья метет своей взбитой шевелюрой лед на катке в Любляне или в Вене, но я все-таки смотрю: действует гипноз телевизора. И что удивительнее всего – я даже начинаю привыкать к такому гипнозу».

Как видите, солидный ученый и тот вынужден был признаться, что его «заставили» смотреть передачи, которые ему совсем не нужны. А что тогда говорить о человеке рядовой профессии, рабочий день которого строго нормирован и перед которым стоит совсем не простая проблема досуга. Вспомните хотя бы последний чемпионат мира по футболу, вспомните, как в часы трансляций матчей по «интервидению» будто вымирали улицы городов. Все исправно несли вахту у «голубых экранов». Даже женщины.

А затем чемпионат по гимнастике, фигурному катанию и т. д. А тут подоспел Международный кинофестиваль...

В головах оседают имена актеров и тренеров, чемпионов и режиссеров, названий стадионов и кинофильмов и сотни самого различного рода показателей, выраженных цифровыми знаками. Цифры, отвлеченные понятия...

Нет, я вовсе не против спортивных состязаний и творений кинопромышленности, во все времена проводились зрелищные мероприятия, и вряд ли наше время должно представить тут какое-то исключение. Здесь речь идет совсем о другом.

Существует такое понятие, как культура чтения, которая предполагает умение человека отбирать для своего чтения нужные произведения. Количество прочитанного не есть мерило глубины или образованности человека. Больше того, обильное, но беспорядочное, бессистемное чтение всегда считалось признаком или малообразованности, или недалекости человека. И нам нужно противиться не новым видам и новым источникам информации, а повышать культуру их усвоения, и современный образованный человек должен уверенно знать не только то, что он должен смотреть (читать), но еще не менее твердо знать, чего он смотреть (читать) не должен. И эта проблема, между прочим, родилась не сегодня. Так, Льва Толстого, вероятно, занимали примерно те же вопросы, когда он писал:

«Одна из главных причин ограниченности людей нашего интеллигентского мира – это погоня за современностью, старание узнать или хоть иметь понятие о том, что написано в последнее время. «Как бы не пропустить». А пишется по каждой области горы книг. И все они по легкости общения доступны. О чем ни заговори: «А вы читали Челпанова, Куна, Брединга? А не читали, так и не говорите». И надо торопиться прочесть. А их горы. И эта поспешность и набивание головы современностью, пошлой, запутанной, исключает всякую возможность серьезного, истинного, научного знания. А как, казалось бы, ясна ошибка. У нас есть результаты мыслей величайших мыслителей, выделившихся в продолжение тысячелетий из миллиардов и миллиардов людей, и эти результаты мышления этих великих людей просеяны через решето и сито времени».

«Решето и сито времени» отбирает из неохватного количества информации только ту, что действительно представляет непреходящую и объективную ценность. Этот «метод» позволяет нам приобщиться к истинно глубоким мыслям и подлинному вдохновению, формирует наш эстетический вкус, развивает ум, приобщает к высокому нравственному поиску предшественников, закладывает фундамент собственного мировоззрения. И я берусь утверждать, что любому моему современнику гораздо необходимее прочитать «Войну и мир» или «Мертвые души», нежели просмотреть все передачи КВН или «Голубого огонька». Нет, я вовсе не против этих передач и не вижу в них большого вреда, однако *в бюджете времени* современного человека они должны занимать соответственное их подлинному значению место. Думается, что академик Н. Конрад ничего не имел против фигурного катания и говорил он, в общем-то, не о фигурном катании, а о гипнозе телевидения, напоминая, что подлинная культура всегда приобреталась в результате упорного труда, а не только в результате приятного времяпрепровождения.

Разумеется, осваивать «фундамент человеческих знаний» – дело куда более хлопотливое, чем регулярный просмотр занимательных телепередач или ежедневное посещение кино-театров. Но если человек претендует на современность, то он в первую очередь должен «в просвещении стать с веком наравне». Слепое подражание внешним приметам своего времени или усваивание стереотипных положений не делают его современным, пусть он даже по всем статьям и выглядит достаточно модным.

3

К сожалению, под власть моды попадают не только те, для кого снимаются фильмы, ставятся спектакли, устраиваются выставки, пишутся книги, но и сами творцы: актеры, режиссеры, художники и т. д.

Примерно лет пятнадцать – восемнадцать назад необычайную популярность у нас приобрели произведения Ремарка, что, вероятно, имело свои причины. В конце концов чисто читательский интерес к Ремарку перерос в «писательскую» моду: некоторые молодые, недостаточно зрелые прозаики стали писать «под Ремарка». Мода эта, как и всякая другая литературная мода, держалась недолго, и сейчас вряд ли отыщется писатель, который охотно признался бы, что в своем творчестве он шел «от Ремарка».

Примерно то же было и с Хемингуэем. У нас жадно его читали, горячо о нем спорили, клялись его именем, наконец, откровенно подражали ему в письме. И даже пытались походить на него внешностью. Постепенно мода уступила свое место здоровому читательскому вниманию и спокойному научному исследованию творчества этого писателя.

Комична была мода на Кафку (хотя с именем этого писателя меньше всего вяжется слово «комичный»). В свое время в кругу молодых литераторов имя Кафки имело широкое хождение. Как только возникал какой-нибудь разговор о художественной прозе, обязательно слышалось: Кафка, Кафка, Кафка... И разговор сразу же приобретал оттенок жгучей современности.

Но самое удивительное здесь было то, что почти никто из тогдашних многочисленных приверженцев Кафки не читал его произведений: они были переведены на русский язык несколько позже.

Я весьма далек от намерений под каким-либо предлогом принизить значение таких писателей, как Хемингуэй или

Кафка, Фолкнер или Сэлинджер, да и многих других. «О, ради бога, не считайте, что любить родину – значит ругать иностранцев...», – очень кстати сказал в свое время Достоевский. И беда не в том, что кто-то учился у Хемингуэя или Фолкнера, а в том, что кто-то, не обрекая себя серьезной учебой у западных мастеров, попытался сесть на их иждивение.

Глушить же собственную духовную жизнь и добровольно заболеть чужими болезнями, прививая себе то приступы чужестранной эгоистической тоски, то симптомы заморского социального равнодушия, могли лишь те, кого, видимо, одолела безнадежная духовная лень. Мы всегда были достаточно здоровы, чтобы заболеть всеми этими недугами всерьез, однако нельзя сказать, что мы оставались абсолютно невосприимчивыми к моде на чужие хвори. Больше того, у нас это в какой-то мере традиционно – красоваться чужими недугами, у нас даже издревле такой общественный тип сложился, который ужасно переживал, что не родился иностранцем. «Всю жизнь, – отмечал еще в прошлом веке историк В.О. Ключевский, – помышляя об «европейском обычае», о просвещенном обществе, он старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими. В Европе видели в нем переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом».

В такое же положение попали в свое время и некоторые наши «исповедальные» авторы (о них у нас речь впереди), им непременно хотелось выглядеть рожденными в России Сэлинджерами или еще кем-то в этом роде.

4

К счастью, любая литературная мода недолговечна, как, впрочем, и все, что идет навстречу лишь нашему внезапному настроению, но не учитывает наших истинных духовных потребностей. Только мы начинаем осознавать эти потребности, мода отходит на второй план, а затем и вовсе исчезает. И хотя она в силу инерции или по ряду других второстепенных причин может занимать кого-то еще довольно долго, преодолеть собственную участь никакая мода не в состоянии.

До определенной поры в споре с модой логика бывает почти бессильной. И не потому ли в начале прошлого десятилетия «исповедальная» проза достаточно прочно внедрилась в нашу литературную жизнь, четко обозначив свои идейно-эстетические позиции. «Свой» герой, «своя» тематика, «свои» особые проблемы и эстетические наклонности, даже «свой» язык. Короче говоря, обновление шло по всем основным статьям, и слово «новаторство» в устах некоторых критиков стало высшей и чуть ли не единственной похвалой, а слово «традиционность» – синонимом отсталости и бесталанности.

Да, в жизни нашей были и Алексеи Максимовы («Коллеги»), и они тоже могли привлечь внимание писателей. В конце концов беда даже не в том, что этот общественный тип стал героем «исповедальной» литературы, беда в том, что эстетика этой литературы не способна была «осмыслить» этот тип, «понять» истинные его намерения, достоверно отразить жизнь во всей ее сложности и противоречиях и тем самым продемонстрировала неспособность к верному самостоятельному отражению действительности.

Авторам «исповедальной» прозы не удалось осмыслить явления, которые происходили в нашей стране в те сложные годы. И главная причина здесь та, что герой «исповедальной» прозы слишком далеко уже отстоял от тех реальных процессов, которые определяли общественное развитие той поры, далеко отстоял от исторического опыта народа.

Не станем вдаваться в подробности, что было новаторством для каждого предшествующего нам поколения, но для нашего, так называемого «четвертого поколения», большим новаторством, требовавшим и писательской смелости, и гражданской доблести, был отказ от веяний и соблазнов возникшей в ту пору литературной моды и обращение к традициям великой русской литературы. Говоря о традициях отечественной литературы, я прежде всего имею в виду не литературные приемы, а нечто большее и значимое, что составляет ее глубинную сущность и определяет ее мировое значение: стремление к социальной справедливости и нравственной чистоте. И поступаться этой самостоятельностью значило бы поступаться не только интересами национальными, но и интернациональными, ибо значение нашей литературы давно переросло ее национальные рамки.

Не опровергла этого правила и так называемая «исповедальная» проза, несостоятельность которой к концу минувшего десятилетия в общем-то стала очевидной. А ведь в начале шестидесятых годов, когда вокруг нее поднялся необычайный литературно-критический переполох (и тут даже трудно сказать, кто больше способствовал популяризации «исповедальной» прозы – ее сторонники или ее противники), многие в атмосфере этой эстетической сумятицы приняли литературную моду за литературное явление.

Мысль, что «исповедальная» проза в нашей современной литературе стояла особняком, я вовсе не собираюсь приписывать себе. В свое время многие критики доказывали непричастность этой прозы к общему литературному процессу прошлого и настоящего. И в этом отношении очень определенно высказался, к примеру, критик А. Макаров: «На какое-то время как бы даже две литературы образуются: одна для, так сказать, обыкновенных людей, другая – юношеская, молодежная, да не та поучительно-назидательная, что бывшими педагогами сочиняется, а свойская, *саморожденная*. И это будет литература спорная и спорящая» (курсив мой. – А. Л.). И дальше: «... пожалуй, именно с повести Аксенова все же начинается большой разговор, выделивший «молодежную тему» как бы в особую линию в литературе, и самый журнал «Юность» приобретает физиономию, отличную от других журналов».

1978

«Исповедальная» проза и ее герой

*С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко
вперед не продвинется.*

А.С. Пушкин

1

Как бы мы ни относились к так называемой «исповедальной» прозе, нельзя не признать, что недавние споры о ней занимали очень значительное место в нашей повседневной литературной жизни. В этих многочисленных и почти не прекращающихся спорах не только ломались критические копья, но и формировались эстетические взгляды иных читателей и писателей, порой определялись направления целых печатных органов, наконец, рождались новые имена прозаиков и критиков. И кажется, уже сам по себе напрашивался отрядный вывод: в нашу художественную прозу пришли молодые авторы, и им в самом ближайшем будущем суждено вписать новые и очень яркие страницы в историю отечественной литературы.

Правда, одних в этих обстоятельствах смущала поспешность, с которой «молодые» намеревались заполнять страницы истории литературы. Других – излишняя горячность самих споров. Третьих здесь вообще ничто не смущало. Так или иначе, но в спорах этих не родилась та истина, ради которой, казалось, они велись. А споры эти тянутся и по сей день, хотя теперь они, как-то отяжелев, потеряли и свою былую свежесть, и прежнюю свою напористость, утратили молодцеватость и щеголеватость, а заодно и свою привлекательность. Причин здесь много, но главную, пожалуй, нужно видеть в том, что у читателя пропал былой интерес к предмету спора, а у авторов некоторых статей недостает порой терпения разобраться в происшедших переменах. В этом отношении очень показателен последний цикл статей о прозе «четвертого поколения» критика Ф. Кузнецова «К зрелости» («Юность», 1966, № 11, 1967, № 3 и 5) и статья Ф. Светова «О молодом герое» («Новый мир», 1967, № 5), последовавшие за интересным циклом статей недавно ушедшего от нас талантливой критика А. Макарова «Через пять лет» («Знамя», 1966, № 2, 3, 7 и 8; статьи эти вошли также в последнюю книгу А. Макарова «Поколения и судьбы», «Советский писатель», М., 1967).

Словно величественные дредноуты, прошли критики один за другим параллельными курсами, не обнаружив ни малейшего желания к взаимодействию. (Тут исключение нужно сделать лишь для А. Макарова, который выступил первым.) И трудно сказать, принимает ли Ф. Кузнецов основные положения статей А. Макарова: автор «Юности» почему-то счел за благо для себя игнорировать подробный анализ прозы «четвертого поколения», проделанный автором «Знамени». Ф. Светов сделал один-два упрека в адрес Ф. Кузнецова, в частности обвинив его в нежелании «вдаваться в разборы» произведений, но тут же, на этой же самой странице, неожиданно отменяет «разборы» А. Макарова. Автор «Нового мира» уверяет, что «монографические разборы» А. Макарова непременно уведут нас «в сторону от нашей темы». Итак, с одной стороны, плохо не «вдаваться в разборы», с другой – не следует в них «вдаваться»...

Я тоже рискнул выйти в плавание, но мне не хотелось бы просто качаться на голубых параллелях и гордо ничего не замечать впереди себя, кроме туманного и недостижимого горизонта. Я хочу идти своим путем, но не стану пугаться пересечения курсов, не буду делать вид, что я единственный мореплаватель.

Начиная свой путь, сразу же оговорюсь: я с трудом принимаю термин «четвертое поколение», рожденный в свое время заботами только о сегодняшнем дне. Ведь если есть «четвертое поколение», то должны появиться и «десятое», и «тринадцатое» и т. д. Неудобство опре-

делять литературные поколения порядковыми числительными кажется очевидным, поэтому будем считать этот термин временным. Вину же за неудачный термин возложим на всех, а стало быть, ни на кого в отдельности. Порой вот так неожиданно сказываются преимущества коллективной ответственности.

Мне очень близка мысль Ф. Светова, что «дистанция времени дает критику свою выгоду» и что «теперь уже можно спокойно разобраться в том, что осталось, отстоялось со временем, а что ушло вместе со злобой дня и представляет интерес разве что историко-литературный». Правда, потом у меня с Ф. Световым возникнет спор на тему, что «осталось» и «отстоялось», а что не «осталось» и не «отстоялось», но сама постановка вопроса мне кажется своевременной.

Действительно, не пора ли нам разобраться в нашем же литературном хозяйстве, когда мы имеем уже и достаточное число писательских имен и немалое число литературных героев? Не пора ли наконец разговору о прозе «молодых» выйти из состояния одной только лихой предположительности суждений? Пожалуй, настало время обзавестись нам и обоснованными выводами. Здесь у меня нет никаких расхождений с Ф. Световым.

2

А теперь особо несколько слов о логике Ф. Кузнецова. Критик полон решимости внушить нам мысль, что проза «молодых» за последнее десятилетие «проделала путь от гладилинской «Хроники времен Виктора Подгурского», трогавшей первозданной и чистой наивностью, к беспощадно трезвой и суровой повести «Привычное дело» В. Белова и перестала быть «молодой». Представители ее прошли за эти годы схожий путь, и лишь в той мере, в какой они прошли этот путь жизненной зрелости, они и остались в литературе, избегнув опасности оказаться авторами одной-единственной «первой повести».

Не правда ли, занимательная логика? Оказывается, к зрелости вовсе не обязательно приходить самому, за тебя это могут сделать и другие. Написал, скажем, А. Гладилин «Хронику времен Виктора Подгурского», а через несколько лет В. Белов утвердил зрелость А. Гладилина своим «Привычным делом», Ф. Кузнецов убежден, что представители «молодой» прозы «прошли за эти годы схожий путь». Право, не знаю, в чем критик увидел схожесть путей В. Белова и А. Гладилина и какие соображения навеяли ему столь оригинальную мысль.

На деле же все обстоит несколько иначе. А. Гладилин вот уже десять лет пишет однообразно-беспомощные «исповедальные» повести. Начал он упомянутой «Хроникой...» и дошел до «Истории одной компании» (автором одной повести он не остался, но и зрелости не обрел). А В. Белов давно пишет превосходные рассказы и к зрелости пришел не сегодня и совсем уже не благодаря А. Гладилину, а скорее вопреки.

Видимо, та же логика заставляет Ф. Кузнецова вести путь В. Аксенова от «Коллег» и «Звездного билета» к таинственно не названным рассказам. В таком случае не мешало бы раскрыть нам секрет: какой аксеновский рассказ есть доподлинное свидетельство его писательской зрелости? Говоря об А. Гладилине, Ф. Кузнецов как-то стесняется упоминать его последнюю повесть; видимо, по той же причине он не упоминает и последний роман В. Аксенова «Пора, мой друг, пора!». Ведь назови их, всякий разговор о зрелости покажется просто неуместным. Поэтому-то у Ф. Кузнецова Василий Белов зреет за Анатолия Гладилина, Георгий Владимов, наверное, зреет за Василия Аксенова, а Владимир Максимов проделывает то же самое, ну, скажем, за подававшего в свое время надежды Владимира Амлинского.

Или вот, например, желая доказать особую миссию «исповедальной» прозы, Ф. Кузнецов пишет: «Легко судить «исповедальную» прозу за слабость решений и ответов: их часто не было в тот момент не только у героев, но и у авторов, – вот откуда художественная слабость и рационализм положительной программы «Коллег», беспомощность глав о перековке героя «Звездного билета». Труднее объяснить, почему это так».

Ф. Кузнецов довольно точно определил слабости ранней «исповедальной» прозы. Эта характеристика остается для нее в силе и поныне. В то же время она никогда не соответствовала прозе «неисповедальной». Так в чем же дело?

А дело в том, что Ф. Кузнецов произвольно переносит характеристику «исповедальной» прозы на всю раннюю литературу «четвертого поколения», а затем характеристику «неисповедальной» прозы старается распространить на всю нынешнюю литературу «четвертого поколения». Создается иллюзия, что молодая проза раньше сплошь была незрелой, а теперь дружно созрела. Фокус, конечно, хитроумный, но это все-таки фокус, а мы предпочли бы иметь дело с фактами.

Специальное знакомство со столь самобытной логикой одного из апологетов «исповедальной» прозы не повредит нам в разговоре о литературе «четвертого поколения», тем более что я и в дальнейшем не отказываюсь поспорить по некоторым вопросам с Ф. Кузнецовым, надеясь: вдруг в споре и выяснится истина.

3

Всякое новое поколение формирует свое общественное сознание под влиянием каких-то значительных исторических событий и уже утвердившихся идей. Однако любое поколение, как бы полно оно ни унаследовало от своих отцов их убеждения и взгляды, вырабатывает свое отношение к действительности. Литература, как одна из форм общественного сознания, отражает смену и взаимосвязь поколений, общий процесс духовного развития народа и духовную жизнь отдельной личности.

И хотя деление на поколения, как и всякая другая периодизация в литературе, – вещь не безусловная, однако если в основу ее положен безусловно важный признак, то эффективность такой периодизации будет очевидной при любых отклонениях ее частных случаев. (Говоря о неудачности термина «четвертое поколение», я имел в виду только термин, а не попытку произвести периодизацию.) Думается, влияние минувшей войны на судьбы того или другого поколения как раз и есть тот признак, который позволяет нам иметь вполне обоснованную периодизацию поколений и всего литературного процесса последних десятилетий.

Нас в основном будет интересовать «четвертое поколение». При всем различии судеб к нему относятся те, чье детство пришлось на войну, и я согласен с Ф. Кузнецовым, когда он пишет: «У нас было нелегкое, военное детство, мы знали и голод, и холод, и тяжкий, недетский труд...» Все это точно соответствует действительности, и спорить тут не приходится. «...Нам все было ясно, – патетически продолжает критик, – и будущее виделось нам в образе бесконечных голубых параллелей, уходивших в века, вперед». Вот тут уж не все соответствует действительности, и не спорить здесь просто невозможно.

Мне, например, неведомо, о каких «голубых параллелях» грезилось, скажем, юношам и девушкам, потерявшим в войну отцов, матерей, родной дом и на долгие годы отлученным от школы и навсегда – от юности. Эти вчерашние девочки и мальчики без особых романтических иллюзий встали к станкам или пошли работать в поле. И если уж говорить об окраске времени, то навряд ли будущее виделось им непременно в голубых тонах.

Зачем же нам забывать о своих сверстниках только на том основании, что они оказались менее нас удачливыми?!

Не снились голубые сны и тем девочкам и мальчикам, которые по воле судьбы много-много раз засыпали под твякающие оклики фашистских патрулей, а просыпались под бесперемонные удары тяжелых прикладов в дверь. По-разному сложилась в дальнейшем судьба этой части нашего поколения, но два-три очень важных года из жизни многих наших сверстников были вычеркнуты.

И это еще не самая горькая правда о нашем поколении. Недавно я прочитал книгу Леонида Сапронова «Дело к весне», и, признаться, мне вдруг стало стыдно за ту удачливость, что не обошла стороной многих из нас. В книге есть повесть «За туман-границей». Это исповедь нашего советского юноши, познавшего рабство в двадцатом веке. Да, мы слышали, что во время войны немцы угоняли в Германию наших сверстников. Но что мы знаем о судьбе угнанных? Нет, даже не тех, кто погиб там, а хотя бы тех, кто вернулся на Родину. Я говорю о судьбе значительной части поколения. Во всяком случае, ее представителям очень долгое время было не до голубых восторгов, о которых с таким умилением вспоминает Ф. Кузнецов.

Зачем же нам, получившим «первую закалку в бурный, противоречивый 1956 год» (слова Ф. Кузнецова), было так длительно и упорно, так по-анкетному казенно относиться к тем из наших сверстников, на чью долю выпали не только трудности, но и ужасы военного детства?

Так что же, критик Ф. Кузнецов, мягко говоря, выдумал все эти «параллели»? Нет, не выдумал. Дело в том, что он имел в виду только одну часть нашего поколения. Какую именно? Давайте послушаем самого Ф. Кузнецова: «Я вспоминаю себя и своих сверстников в пору нашего духовного отрочества, которое пришлось на конец 40-х – начало 50-х годов, когда мы только входили в жизнь, и даже не в жизнь, а в аудитории институтов и университетов».

Жизненный путь этой части нашего поколения при определенных трудностях был все же нормальным: школа – институт – работа. И здесь не может не броситься в глаза, что тот признак, который принят нами как главный при характеристике «четвертого поколения», у этой части выражен наименее ярко. Действительно, трудные были детство и отрочество, но они не были все же настолько трудными, чтобы прервать нормальное развитие. Как мы уже видели, для большей части нашего поколения эти трудности заключались не только в различного рода жизненных неудобствах или лишениях (даже личном горе), а в нарушении нормального пути развития.

Разумеется, я не собираюсь винить другую часть поколения за ее относительную удачливость. Это было бы и несправедливо, и неразумно. Тут же хочу оговориться. Мое утверждение, что нормальный путь развития – «школа – институт – работа», не нужно понимать буквально. Я имею в виду не обязательность, а возможность такого пути для каждого. И сейчас не всякий после школы непременно поступает в вуз, но возможность такую имеет всякий.

Итак, что же характерно для нашего поколения? Во-первых, трудности военного детства. Во-вторых, трудности послевоенной юности. В-третьих, невозможность вовремя получить образование (нарушение нормального пути развития). Это касается большей части поколения. А меньшая его часть, оказавшаяся в относительно благоприятных условиях, получила даже неожиданную льготу – почти бесконкурсную возможность поступить в вуз.

Вопрос о высшем образовании представляет интерес по многим причинам. Во-первых, герой «исповедальной» прозы – это вчерашний школьник или студент, и главная его забота, как правило, связана с проблемой дальнейшего образования. Во-вторых, вопрос о высшем образовании, помимо всего, – вопрос социальный, а критик Феликс Кузнецов поучал еще критика Льва Аннинского, что «проблема личности не решается в сфере чисто нравственной, это проблема нравственно-социальная». Вот и давайте все проблемы решать в нравственно-социальном плане.

Если студентам предложить вопрос в такой форме: «Кем ты станешь после окончания вуза?» – последуют ответы: «инженером», «врачом», «преподавателем»... Но нельзя ли несколько изменить вопрос и поставить его так: «А кем ты не станешь после окончания вуза?» Тут должны следовать ответы: «рабочим», «крестьянином», «солдатом»... Помните, у А. Гладиллина: «Идти работать? Тут уж возмущались даже закоренелые троечники: «Зачем же мы получали среднее образование?» Действительно, зачем?

Оказывается, больше всего героев «исповедальной» прозы беспокоит не вопрос их призвания, а вопрос их благополучного социального будущего. Кем угодно, но только не рабо-

чим, только не крестьянином, только не солдатом. А давайте себе представим, что вот эти откровения героев А. Гладилина довелось услышать человеку, у которого война выхватила из жизни два-три года, который к девятнадцати годам примерно пять лет проходил в «работягах», затем три-четыре года армии, затем... Затем жизнь у таких людей складывалась по-разному. Но таких людей «исповедальная» литература самодовольно игнорировала.

Итак, после окончания школы решается вопрос не только призвания, но и социального будущего, а заодно выявляются и гражданские намерения выпускников. Естественно, нельзя усматривать в желании получить высшее образование что-то заведомо предосудительное. Нравственную оценку этого желания дает ответ на вопрос: «Ты получаешь высшее образование во имя того, чтобы кем-то стать или только во имя того, чтобы кем-то не стать?» Социальный анализ как раз нам и поможет проследить пути формирования общественных типов, сложившихся в недрах нашего поколения.

4

Здесь у нас пойдет разговор о герое «исповедальной» прозы, и нам будет очень важно выяснить не то, каким хотел казаться герой, а каким он был на самом деле, каковы были его нравственные позиции и социальные намерения.

Но сначала послушаем «исповедальные» признания Ф. Кузнецова и посмотрим, насколько они верны. «Наши голубые, безмятежные при всей трудности жизни, такие правильные и ясные убеждения, – констатирует критик, – свидетельствовали о том, что мы умели верить, *но не всегда умели думать*». Или еще: «Авторы ее принадлежали к тому же поколению, только-только начинавшему обретать зрелость, им так же мучительно *не хватало умения мыслить, они так же были слабы в синтезе*, как и их герои» (разрядка моя. – А. Л.).

По Ф. Кузнецову выходит, что «четвертому поколению» свойственно было неумение мыслить. Здесь критик, кажется, допускает ненужную щедрость, слишком расширительно распространяя важный признак какой-то части поколения на поколение во всем его объеме. А я, например, отваживаюсь утверждать, что гражданская зрелость и способность мыслить – это не поветрие, а способность конкретного индивидуума; и вообще никогда не было времен сплошных дураков, как никогда не было времен сплошных умников. Правда, бывают времена, когда дураку легче сойти за умника, но это уже особый разговор.

В этой же связи меня очень озадачило и такое заявление Ф. Кузнецова: «Общественное потрясение, пережитое всеми в 1956 году, разбудило мысль. И в первую очередь мысль молодых». Стало быть, если уж «мы» не умели мыслить, то остальные и подавно. А я, например, до сих пор и не предполагал, что Михаила Шолохова или Леонида Леонова «разбудила» клокущая мысль Гладилина или Аксенова. Вот уж действительно до чего не доведет святая простота! Правда, мне и до сих пор не ясно, почему же стал возможен «пятьдесят шестой год», если до этого самого года у нас никто не умел мыслить. Признаюсь честно, я не умею отвечать на такие вопросы. Феликс Кузнецов, вот он умеет, ему, как говорилось в старину, и карты в руки, а мы пока продолжим разговор о своем поколении.

Итак, Ф. Кузнецов уверяет нас, что, дескать, мысль у молодых проснулась только в 1956 году. Я согласен, у кого-то она шевельнулась именно в то время. Что касается других, то они мыслили и прежде. Сошлюсь хотя бы на такой пример. Писатель Георгий Владимов, типичнейший представитель «четвертого поколения», вошел в литературу как критик и только к тридцати годам написал первую повесть («неисповедальную»). Но возьмите хотя бы его статью «К спору о Ведерникове», опубликованную журналом «Театр» в 1954 году, и вы убедитесь, что способность мыслить – это совсем не поветрие. Я специально рекомендую эту статью Г. Владимова, так как она была опубликована за два года до того рубежа, от которого Ф. Кузнецов ведет родословную наших умственных движений.

Или напомним другого критика тех лет – Марка Щеглова, умершего в 1956 году. При любом отношении к его критическим статьям как-то не поворачивается язык сказать, что он не был способен мыслить. Примеры можно множить. Но вернемся к Г. Владимову.

В 1961 году он опубликовал свою повесть «Большая руда»; были на нее и рецензии, причем в основном положительные. Его имя стало иногда мелькать в «обойме». Если бы Ф. Кузнецов искренне помышлял о «рачительном и вдумчивом» отношении к молодой прозе, то он еще в 1961 году, а не в 1966-м объявил бы о «кончине» так называемой «исповедальной» прозы. Но не предполагал ли тогда уважаемый критик, что М. Щеглова забудут, что Г. Владимов, вероятно, случайность и что все обойдется? Нет, не обошлось. Тут-то и заволновался Ф. Кузнецов. Нужен был какой-то ход, необычайный ход. И вот Ф. Кузнецов начинает выводить творчество Белова и Владимирова из литературных опытов Гладилина и Аксенова. Небезынтересный факт: «исповедальная» проза всякий разговор о преемственности и традициях считала нелепостью, а сама, еще даже не созрев, полезла в «предшественники». Поистине задумали жать там, где никогда не сеяли.

Вы только послушайте внимательно Ф. Кузнецова: «Первозданная наивность, или, как определили критики, «инфантильность», ее (то есть «исповедальной» прозы. – А. Л.) героев сочеталась с мужественной попыткой не только героев, но и авторов с ходу разрешить сложнейшие проблемы человеческого духа: в чем смысл жизни, добра и зла, человеческой совести? Это был пафос постижения личной нравственности с азов, и эти азы оказывались необъятными глыбами духовных ценностей. Это был пафос первооткрытия элементарного, а элементарное оборачивалось сложнейшими проблемами человеческого духа, над которыми века и века бились великие...»

Видели как? Великие бились, бились – у великих ничего не получилось. Пришли Подгурские и начали «сложнейшие проблемы человеческого духа» поднимать с азов.

Но зачем же с азов? Разве великие так уж ничего и не сделали? И зачем же «с ходу»?

Сделав небольшую уступку («мы не умели думать»), «исповедальные» герои переходят в решительное наступление, безосновательно претендуя на особую роль в общественной жизни. Они выдают себя за страшных новаторов, самоуверенно принимают самые неестественные позы с небескорыстной целью ошеломить всех новизной и оригинальностью. Прикинув еще на школьной скамье или на первых курсах вуза, какие льготы сулит им эта новая роль, они решили биться за нее не на шутку. Вот тут-то и начинаются страдания новоявленных Вертеров. Безусловно, свои истинные намерения они ловко закамуфлировали, придали своим «страданиям» видимость мировой скорби, дабы возбудить к себе общественный интерес. И Ф. Кузнецов уговаривает нас принять весь этот маскарад за чистую монету.

В стремлении «исповедального» героя приписать себе особые заслуги сквозит откровенная тенденция к элитарности, возникающая из острого и, увы, необоснованного ощущения собственной исключительности. И именно теперь, кажется, настала очередь поговорить о самом герое.

В повести А. Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского» есть такое свидетельство: «И то положение, что в вузы попадают только самые лучшие, дошло не сразу. До этого времени, особенно в крупных городах, считалось чуть ли не позором, если десятиклассник не шел в институт. А из самих же институтов в эти годы исключалось до одной трети студентов за систематическое упорное ничегонеделание. Выгнанные не падали духом: «Поступим в другой, мы все равно нужны». Поэтому в 1953 году большинство восприняло свою неудачу как трагедию».

Мы, помнится, договорились: к «четвертому поколению» относить тех, у кого было «трудное военное детство». Под это определение уже не подходят выпускники школ 1953 года и последующих лет, у них разве что было «трудное военное младенчество». Чтобы как-то избе-

жать путаницы, рискнем называть последних ну хотя бы «поколением 1953 года», не распространяя этот термин дальше настоящей статьи.

Почему же «трагедия» случилась именно в «пятьдесят третьем году»? Да потому, что школу окончили как раз те, кто поступил в нее в «сорок третьем» и кому не приходилось прерывать учебу. Теперь возобладал принцип «конкурсного отбора» («в вузы попадают самые лучшие»). А все выпускники школ уже унаследовали убеждение: после десятилетки дорога прямиком лежит в институт. Откуда взялось такое убеждение? Его дал опыт предшествующего поколения.

Выпускники «пятьдесят третьего года», включая и «троечников», уже предвкушали тот миг, когда они без труда перешагнут порог вуза и станут членами «интеллектуальной» элиты; мысль, что «они все равно нужны», ни на минуту их не покидала. Однако оказалось, что теперь нужны самые способные, и «троечники» растерялись, а потом рассердились, но мысли об элите не оставили.

И вот этих-то героев Ф. Кузнецов в порыве бурного умиления называет то «юными борцами», то «активными, общественно значимыми, думающими личностями», сводя весь анализ к субъективным эмоционально-нравственным оценкам. Уместнее все же рассмотреть этих героев в социально-историческом плане, а затем уже переходить к эмоционально-нравственным восторгам, если только останется такое желание.

...1953 год. Страна еще не залечила всех ран минувшей войны. Подгурский и ему подобные оканчивают в это время среднюю школу. А кем, к примеру, хочет стать Подгурский? Он желает быть студентом. А конкретнее? Конкретнее ничего не получится.

«...Дождь исчез. И он увидел себя в майский солнечный день впервые остановившимся перед этой афишей. Вот он спорит с одноклассниками, какой институт лучше». Обратите внимание, не какая профессия лучше, а какой институт. Подгурский выбрал Московский авиационно-технологический. Думаете, он всю жизнь бредил профессией инженера-авиастроителя? Ничего подобного. Название института понравилось... Подгурский в институт не попал: срезался на вступительных экзаменах.

Скажите, ну, а если бы «помехой» были бы не экзамены, если бы просто какого-нибудь специалиста (врача, инженера и т. д.) спросили: «Хочешь иметь такого ученика, продолжателя твоего дела?» Навряд ли кто дал бы утвердительный ответ. На чем же тогда основаны притязания Подгурских? Чем их привлекают вузы? Нет, тут и речи не может быть о призвании. Героев заботит их социальное будущее – и только. Вуз – значит, ты уже не рабочий, и не крестьянин, и не солдат, остальное неважно. А на каком основании? Это тоже неважно.

Подгурские миллионы не имели, жили они в той стране, где в определенном возрасте требуется четкое социальное самоопределение. В элиту «интеллектуалов» они не попали, теперь им предстояло сделать выбор между рабочим классом и классом крестьян. Но именно эта альтернатива их и напугала. Они не повторили судьбу своих предшественников, они предстали перед принципом «конкурсного отбора» («в вузы попадают самые лучшие»), и их «голубые параллели» неожиданно были разбиты вдребезги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.